

ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ ЛЮБВИ

Пойди туда —
не знаю куда

НИКОЛАЙ
КРЫЩУК

Память так
устроена...

ЭССЕ. ВОСПОМИНАНИЯ

Николай Крыщук

Пойди туда – не знаю куда.

Повесть о первой любви.

Память так устроена...

Эссе, воспоминания

«Геликон Плюс»

2017

УДК 82.32.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6

Крыщук Н.

Пойди туда – не знаю куда. Повесть о первой любви. Память так устроена... Эссе, воспоминания / Н. Крыщук — «Геликон Плюс», 2017

ISBN 978-5-9909707-7-9

Книга Николая Крыщука состоит из двух разделов. Первый занимает повесть «Пойди туда – не знаю куда» – повесть о первой любви. Любовь, первый укол которой, страшно сказать, герои почувствовали в детстве, продолжается долгие годы. Здесь речь идет, скорее, о приключениях чувств, чем о злой роли обстоятельств. Во втором разделе собраны эссе и воспоминания. Эссе о Николае Пунине и Лидии Гинзбург, воспоминания о литературной жизни 70-х годов и первого десятилетия века нынешнего. Читатель познакомится с литературным бытом эпохи и ее персонажами: от Александра Володина, Сергея Довлатова, Виктора Конецкого до литературных функционеров издательства «Детская литература», ленинградского Союза писателей, журналов «Нева» и «Аврора», о возрождении и кончине в начале 90-х журнала «Ленинград», главным редактором которого был автор книги.

УДК 82.32.161.1

ББК 84(2Рос=Рус)6

ISBN 978-5-9909707-7-9

© Крыщук Н., 2017
© Геликон Плюс, 2017

Содержание

О сопряжении слов	6
Пойди туда – не знаю куда	10
Конец ознакомительного фрагмента.	67

Николай Прохорович Крыщук
Пойди туда – не знаю куда. Повесть
о первой любви. Память так
устроена... Эссе, воспоминания

© Крыщук Н., текст, 2017

© Арьев А., предисловие, 2017

© «Геликон Плюс», макет, 2017

О сопряжении слов

Кажется, не бывало в России такого времени, на которое бы, «подводя итоги», отечественный писатель смотрел без грусти. Да и в других странах, кого сыщешь, не Шекспира же и не Кафку? Естественный взгляд творца, интеллектуально одаренного, тем паче пожившего не один десяток коварных лет. Таковы неизбывные условия существования художника, настигнутого изматывающим его душу миропорядком.

Сегодня, когда живешь в мире, в котором прежде всего поражает, зачем и почему люди ежечасно лгут – и не только люди публичные, – становится ясным, с какой стати искусство слова оттесняется в нем на обочину развлекательными программами, замещается «зрелищами», тем, что верно именуется «боями без правил». По этой причине заранее отдаешь предпочтение художнику, в таинственном сопряжении слов находящему больше смысла, чем в разгадывании кремлевских ребусов.

Валерий Брюсов наставлял поэтов: «И ты с беспечального детства / Ищи сочетания слов». Марина Цветаева рассердилась: почему это «слов», а не «смыслов»? Со свойственным ей лирическим нетерпением она – точь-в-точь как толстовский герой из «Войны и мира» – недослышала: за словом «сопрягать надо» не различила «запрягать». Брюсовскому «сочетанию слов» предшествует мысль о необходимости «запрягать» их как лошадей – для странствия по кругам рая и ада. Всякий настоящий художник, полагает Брюсов, подобно Данту, является на землю с обожженным «подземным пламенем» лицом. Что и побуждает его искать «сочетания слов»: без них осмысление увиденного невозможно, «персональное» не становится «всеобщим».

Любое детство «беспечно», если иметь в виду неизбежные коллизии дальнейшей человеческой жизни. Ленинградское послевоенное детство поколения Николая Крышука и его самого «беспечальным» никак не назовешь. Что только упрочивало способности к выработке собственных суждений. Речь заводит Николая Крышука в такие, не предусмотренные обыденным житейским укладом закоулки, в какие никакая социология, никакой сыск хода не имеют – за неумением обращаться ко вторым, третьим и бесконечным смыслам художественных речений.

Есть у Николая Крышука не включенный в настоящее издание «роман-фантазмагория». Первоначально он назывался «Ваша жизнь больше не прекрасна». И это, кажется, единственно достоверный сигнал, передаваемый современному человеку через атакованные вирусом прогресса подмигивающие дисплеи.

Автор переименовал заглавие романа на другое, заведомо простое, ускользящее от обозрения и публичности – «Тетради Трушкина». Это важно: роман теперь посвящен «биографии внутреннего человека», к каковой клонятся вообще все сочинения Николая Крышука, в том числе хорошо представленные в настоящем издании документально-эссеистические жанры. Прозаическое в них тесно спаяно с поэтическим, строчки норовят стать строками стихотворения, – черта характерная для писателей с невских берегов, взявшихся за перо после 1956 года. Речь у них идет о людях не на своем месте, о мнимой смерти и мнимой жизни, о ее дурной бесконечности: «Что сказать мне о жизни? Что оказалась длинной...» У Крышука действие накатывает валами из разных исторических пространств, обнажая разные философские пласты – при том, что автор твердо дает понять: он-то живет сегодня, живет среди нас, и наши треволения и беды ему не чужды.

Вряд ли подлежит сомнению: проза Николая Крышука – философская. Но без обязательного для этого жанра априорно заданного смысла и удушения читателя цитатами из малоизвестных философов.

В эссе о совершенно реальной и всем известной личности, Александре Володине, Крышук заметил: «Биографы зря стараются», ибо существен лишь «внутренний человек». Чтобы

внимание к нему не пресекалось, прозаику удается находить часто сразу запоминающиеся, строго пригнанные друг к другу слова, как, например, в книге об Александре Блоке: «Был в нем какой-то нравственный регистр, неповрежденное чувство правды».

«Правда» – она и есть предмет рефлексии писателя Николая Крышука. Драма и счастье человеческого сознания, драма и счастье «внутреннего человека» состоят в том, что правда не универсальна. Универсально лишь то, чего мы не знаем. А то, что мы знаем – не универсально. Здесь точка отсчета и точка поисков современного художника, такого, каким мне представляется Николай Крышук – в этой книге особенно, потому что в ней слиты его основные, произрастающие из единого корня, ветвящиеся от одного ствола жанры – прозаика, филолога, журналиста.

И не только в этой. Таковы вообще его «ненаблюдаемые сюжеты» при наблюдаемой психологической тонкости их трактовки. Например, предшествующий «Тетрадьм Трушкина» роман «Кругами рая» на том и стоит, что внутренний мир персонажей, мотивы их поступков или, что еще сложнее, бездействия, даны со скрупулезной психологической достоверностью. Тема романа традиционная – драма «отцов и детей». Тем сильнее впечатляет оригинальность ее трактовки: вместо сведения счетов, персонажей тянет друг к другу «взаимное непонимание», фатально их связующее, обуславливающее жизнь.

В первый круг «рая» входит открывающая книгу повесть «Пойди туда – не знаю куда» – рефлексия об утраченной любви двух достойных друг друга существ. Их тихая драма заключается в том, что каждый из персонажей искал не то, что другой. У героев не получилось ничего, зато у автора получилось все: сказочное «неведомо что» нашел он. В этом радость, в этом художественный успех. Потому как художник призван творить именно «неведомо что», по своему мерцающие для каждого читателя смыслы.

Пожалуй, в большинстве, а в скрытом виде и во всех, коллизиях, рассматриваемых петербургским прозаиком, найдешь неосязаемый промельк счастья. Влюбленность, его атрибут, у него – «нормальное состояние». Но состояние, переживаемое интимно, в повести выражено через изящную внешнюю примету – «немого попугая», мелькнувшего в финальной сцене. В сотнях изложенных самыми разными авторами историй, если попугай и является, то непременно «говорящий». А вот у Крышука «немой». Должен был что-то произнести внятно. Но нет, не произнес. Также и героиня – могла бы прийти, но – о, судьба! – не пришла... Да – судьба: «Из того, что она не пришла, сложилось счастье моей жизни». Дальнозоркий Николай Крышук автор. Следовательно, понимающий, что в искусстве к чему. То же обречение на влюбленность автор «повести о первой любви» распознал в душевных устремлениях таких разных писателей, как Владимир Соловьев, Чехов и Александр Блок.

«Где найти меру неотменяемости общего и меру независимости личного?», задает устами Лидии Гинзбург вопрос Николай Крышук. Вопрос этот – онтологический, тысячелетиями стоящий перед мыслящим тростником: в каком пункте «общее» становится «частным»? Неясно до сих пор даже то, не следует ли вопрос ставить в перевернутом виде: где кончаются «единичные сущности» и начинаются «универсалии»? Гармония, видимо, таится в этой безначальной области, обследуемой Николаем Крышуком.

Имя Лидии Яковлевны Гинзбург помянуто здесь – как и в самой книге – не всуе. По благоприобретенной профессии ее автор – филолог, участник знаменитого Блоковского семинара Дмитрия Евгеньевича Максимова. Несколько раз издавалась его книга «Разговор о Блоке».

На минуту остановимся: написан «Разговор о Блоке» в вольной художественной манере, не предающей изначальной приверженности автора к поэтическому слову, следовательно и к эстетическому своеволию. Крышук принадлежит к тем не часто встречающимся филологам (из тех, о ком он пишет, на ум приходит Самуил Лурье), кто предпочитает, прежде всего, вступать с изучаемым автором в диалог равноправно – не теряя дара речи. Силою вещей из старших отечественных литераторов Лидия Гинзбург ему ближе других. Она, как Крышук и сам понимает,

была слишком художник, чтобы следовать заветам академической науки, и слишком ученый, чтобы выражать свое видение мира в ореоле метафор и метонимий. Конечно, она в первую голову – аналитик, эта склонность привела ее к художеству, у Крыщука же интеллектуальное развитие шло по встречной дороге. Понятно, что и его путь – преодоление той же дистанции. «Если представить все написанное Гинзбург как одно распространенное высказывание», размышляет он, то в нем «присутствует та нерасчленимая, аналитически не вычисляемая тайна, которая была передана ему личностью автора». Если автор и умирает в своем творении, то мы тем более хотим узнать, что собой представляет нетленный мир, в котором он жил и живет. Памятники для этой цели пригодны мало.

У каждого художника есть свое «всё», определяющее меру вещей бессознательное. Какое бы оно ни было, оно не врет, являя собой то единичное качество, которое врать не в состоянии – ему не перед кем врать в своем стремлении как-то воздействовать на свою телесность. Поэтому изначальное впечатление никогда не победит последующего разочарования – думает Николай Крышук. Хотя бессознательному и безразлично, думаю я, приводит ли его воздействие к драме или к просветлению? До той поры, пока оно не прорывается в сферу всеобщего. Так возникает то, что мы именуем «судьбой».

Размышление о судьбе приводит к осознанию смертности, как данности личного опыта, не преодолимого никакими прельщениями разума. Смерть никогда не подводит. В тех же «Тетрадах Трушкина» отчет об опыте небытия записан симпатическими, то есть художественными, чернилами. В первом приближении пульсирующая фабула этого романа может быть расценена как социальная. Важнее, однако, что всякая социальность имеет у автора этих записок экзистенциальное измерение. Призывы, «возделывать свой сад», во времена Вольтера были меньшей утопией, чем сегодня.

Николай Крышук задается вопросами, каковы неизгладимые приметы нашего нынешнего существования? В какой момент в нас атрофируются человеческие чувства? Отчего жизнь похожа на небытие? Но если большинство писателей, поставив подобные вопросы, уходит от ответов в фантастику, умозрительные конструкции, мистику, сказку или сюрреализм, то Крышук, с помощью своего «маргинального», «несвоевременного», «нелепого» героя-рассказчика, решает дать и убедительные ответы. Этой прозе, при всей свойственной автору иронии, передается отвага наивного прямоговорения избранных им героев. Их внутренняя жизнь полнится позабытой, живущей поперёк и вопреки духу времени верой, что человек выстоит. Порукой тому и одна из самых скромных героинь «Тетрадей Трушкина», выводящая рассказчика из царства нежити на поверхность жизни.

Каждое из этих произведений сводится к простой истории человека, который хотел жить, любить и быть понятым. Со щемлящим чувством мы можем узнать в героях самих себя, а, следовательно, принять и мир этих вещей в целом. Это не столько приговоры времени и обществу, сколько исповеди сыновей века, героев утраченного страной времени. В поисках рая они все время попадают на дороги, ведущие в ад. Его-то существование несомненно. Ибо он – на земле. Там же, где и жизнь райская. Совсем неподалеку.

Иногда кажется, что душевная откровенность, роскошно свежий, метафорически насыщенный язык Николая Крыщука в состоянии воссоздать нам новых Панглоссов и князей Мышкиных. Въяве их вряд ли можно было увидеть и в «добрые старые времена», но их образы у человечества уже не отнимешь. Так что, думает Николай Крышук, «жить можно» и сегодня. Во всяком случае – еще можно. И уж несомненно «В Петербурге летом...», как сказано в заглавии одной из его книг. Плюс к тому «надо бы еще послужить человечеству» – с этим очень характерным для писателя ироническим «надо бы...» Каждому человеку много еще чего «надо бы». Реально же сюжеты Николая Крыщука сводятся к тому, что у выведенных в них персонажей «словно пропадает фокус», настроенность, позволяющая им целеустремленно ориентироваться в шутовском хороводе жизни. Но сам-то автор ориентируется в нем прекрасно, его

фокус не сбит: «Солнце слепящими стрекозами застревает в царапинах стекла». Кто это написал, может быть, Юрий Олеша? Владимир Набоков? Они-то могли бы. Но не это главное: когда Николай Крышук рисует подобные, придающие повествованию естественную живость, пейзажи, его воображение отталкивается не от книг, а от реальных видений. Суть тут – в органической природе его художественного зрения. Филолог-интеллектуал, он все же больше дорожит дарованным ему ниоткуда правом на спонтанную метафору, на радость устремления: «Случайно на ноже карманном найди пылинку дальних стран...».

В былые допечатные времена, когда никакой частной литературной собственности не существовало, автор, обнаружив, что просящееся наружу слово уже произнесено другим, более достойным творцом, с благодарным облегчением копировал чужой текст, продлевал его существование, как усердный иконописец веками передаваемый прообраз. Вот и я собирался начать эти беглые заметки с цитаты из Пушкина, указать на его мнение о Евгении Баратынском, соответствующее, на мой взгляд, предполагаемым дальнейшим соображениям о Николае Крышук. Теперь вижу, что лучше этим мнением начатое дело завершить:

«Он у нас оригинален, ибо мыслит. Он был бы оригинален и везде, ибо мыслит по-своему, правильно и независимо, между тем как чувствует сильно и глубоко».

Андрей Арьев

Пойди туда – не знаю куда *Повесть о первой любви*

Часть первая

...ПЕРВОЕ МОЕ «ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ» было опрыснуто дождем. Дождь прошел утром, и, когда я вышел на улицу с новеньким портфелем, голуби, лепившиеся под крышей крыльца, как раз вылетели размять крылья. Тогда голуби только появлялись в городе после блокады и вообще только входили в моду.

Помню, что, несмотря на облака, утро было ярким, серые блики на жирных, искривившихся от старости листьях слепили глаза. А я шел чистенький и невесомый, как после бани. В школу. В первый раз.

На мне был черный костюмчик, который мама перелицевала из старого отцовского. Впервые в этот день вылез я из привычной вельветовой куртки и чувствовал себя торжественно. Я еще не знал, что в таких неформенных костюмчиках будет всего три человека. На весь класс.

В начале пятидесятых для мальчиков-школьников изобрели серого цвета форму, наподобие военной. Форма шилась двух видов: суконная и хлопчатобумажная.

На суконную форму у мамы не хватило денег, но она все же надеялась купить мне ее позже и поэтому не хотела тратиться на «хэбэ». Стремление «быть как люди» и чтоб «не хуже, чем у людей», – как знакомо это мне с самого детства! Матери долго не удавалось почувствовать себя горожанкой, и от этого-то, вероятно, она еще больше старалась походить на нее. Правда, от половиков и дорожек, вывезенных из деревни, она отказаться не могла. Но вот когда у соседки появился шифоньер, то есть, попросту говоря, трехстворчатый шкаф с зеркалом (у большинства были двустворчатые и без зеркала), мать стала копить деньги на шифоньер. Так же в свое время появится сервант, потом тахта... И все с опозданием на годы, и всякий раз мне было неловко от очередной покупки, как будто она выдавала какую-то нашу тайну.

Форму купили мне только после ноябрьских, и, облачившись в нее, я мгновенно ощутил превосходство над теми, кто ходил в «хэбэ»: их форма уже давно скаталась ватными катышками и выглядела уныло. Но и с теми, кто с первого дня ходил в сукне, я все равно не встал на равную ногу: перед ними я стыдился новой формы так же, как нового шифоньера перед соседями.

Помню, ровно через год, первого сентября, мы узнали, что погиб Коля Ягудин – один из «хэбэшников». Рассказывали, что он удил на речке, поскользнулся и упал прямо в воронку.

Двоечник, «хэбэшник» Коля Ягудин после своей нелепой смерти превратился для меня в образ фатальной незадачливости. Он пугал меня, этот образ, я боялся стать таким, как он. Я хотел быть хорошим и страдал оттого, что у меня это не получается. Я хотел быть хорошим, чтобы меня никто не трогал, а уж тогда-то я буду таким, каким мне хочется.

В стенгазете «Колочка» я изображал Ягудина верхом на двойке.

Когда Коля был жив, я боялся оставаться с ним наедине, чтобы нас не сочли друзьями, теперь, когда его не стало, я боялся, что займу его место.

У Коли было прозвище Дохляк. Он и сейчас вспоминается мне миниатюрным долговязым старичком – первоклассник. Но, может быть, сутулым Коля казался из-за выбившейся из-под ремня и вздувшейся на спине гимнастерки? Лицо Коли было землисто и нездорово. Наверное, он жил в подвале. Тогда еще многие жили в подвалах. Но добрые влажные глаза Коли никогда не выражали собачьей жалкости, может быть, только грусть.

Ни в безвольной нижней губе его, к которой, как шутили, прилипали комары, ни в тоскливо свисавшем «хэбэ», ни даже в нелепой смерти не было никакой предопределенности. Небы-ло!..

Зачем же я, маленький застенчивый «сатирик», рисовал его в стенгазете «Колючка» верхом на двойке: сброшенным брыкливой двойкой на землю, погоняющим отару двоек?... Зачем я так старательно рисовал его свалывшееся «хэбэ»?...

Но я еще иду в первый класс, я еще не знаю Коли Ягудина. В моей душе нет зла. Голуби мира взлетают из-под моих ног и садятся впереди, затрепетав крыльями и на мгновение отразившись в мокром зернистом асфальте. На мне черный костюмчик, а в руках букетик ноготков. Они красивые, на живописно корявых стеблях, запах – сердцевинный запах осени. Они похожи на маленькие подсолнухи.

Я еще только иду в первый класс и не знаю, что ноготки – цветы клумб, а не оранжерей – дешевые, второсортные цветы. Что эти карлики перед господами офицерами гладиолусами?

Мне не нравятся гладиолусы, будто проглотившие перед генералом аршин и вертикально навинтившие на грудь ордена. Мне они не нравятся. Но я не могу не признать их породистости. И когда в вестибюле девчонка-первоклассница, неся их над головой, как какой-нибудь канделябр, громко шепчет про мои ноготки: «Календула! Нарвал, наверное, на улице», – я весь словно погружаюсь в горячую воду. Как предательски засовываю я свои цветы-карлики в тесноту чужих коленей и рук. Бедные мои «подсолнухи»: с хрустом сломалась сочная корявая ножка, посыпалась на каменные шашечки огненные лепестки. Теперь они кажутся мне толстыми крашеными мотыльками.

Не это ли первое маленькое предательство пробудило во мне тогда неожиданный сатирический талант?

Не помню, были ли в тот день цветы у Коли Ягудина?...

УЯЗВЛЕННЫЙ ЭТИМ ВОСПОМИНАНИЕМ, пытаюсь вспомнить себя до Коли Ягудина, до того «Первого сентября»... Но и там обнаруживаю себя тиранчиком с обиженной губой, мучающим на подоконнике мух.

Дальше, дальше!..

Я вижу сад, освещенный хозяйской верандой. К ночи напряжение в сети падает, свет на веранде тусклый, как при керосиновой лампе. Там пьют чай, играют в карты, покрикивают на детей, входят и выходят, погружают пальцы в волосы и смеются... Интересно, знают ли они, что они счастливы?

Я вижу мальчишку в коротких штанишках с оторванной лямкой. Он усердствует около таза, подсовывая ломающийся в воде пальчик пленной и обреченной рыбине. Это я. Из кресла молодо поднимается моя мама и говорит... Ну, говорит, например: «Щуку будем жарить на завтрак, отойди, пожалуйста, от таза». Или: «Ложись, милый, спать, утром пойдем на гору за орехами».

Черное, нарушаемое ветром кружево крон временами смывает эту картину. От земли тянет первым прелым листом осины. Я пасусь в этой ночи как коровка на длинной привязи. В отмытой от ночной сажи полоске зари, в темном, освещаемом верандой саду – что-то от пейзажей Ромадина, от довоенных фильмов об отпускниках, от скоротечного блаженства послевоенных июней, июлей, августов, которые с детских лет проводил я с матерью в Дудергофе.

«Ну, иди, милый, иди», – повторяет молодая женщина, и мальчик покорно идет в свою постель. Необходимость покинуть все и всех ради сна – первая несправедливость, которой он по-взрослому покорился. Он, конечно, совсем не хочет спать, но уснет мгновенно. Ведь он тоже не знает, что счастлив, ему еще незнакома эта забота. Даже встречу, которую жизнь приготовила ему к утру, память отложит в самый дальний тайничок, о существовании которого он еще не подозревает.

АНДРЕЙ ПОМНИТ СЕБЯ СТОЯЩИМ У КУСТА. Бледные листочки его до желтизны просвечены солнцем. Утро. Он только что вышел из дома, еще только привыкает к зябкости утреннего воздуха. И тут замечает на кусте бабочку-капустницу и произносит слышное ему одному: «Ах!..» Бабочка прекрасно притворяется листиком. Она тоже салатная и тоже покачивается от ветра. Но Андрей все же заметил ее и горд. Нерасчетливым движением тянется он к кусту, берет бабочку в кулачок и в этот миг сзади раздается голосок:

– Отдай. Это моя бабочка.

Андрей поворачивается и видит перед собой девочку. У нее огромные серые глаза с подрагивающими веками. Они так невыносимо огромны, что, кажется, присели на минутку, а вот надумают, снимутся с места и полетят.

– Это моя бабочка, – повторяет девочка, глядя то в сачок, то на него. – Я уже час жду, когда она проснется.

– Зачем? – кажется, спросил он.

– Чтобы ловить.

Взглянув на него умоляющими глазами, она отбросила сачок и схватилась за его кулак обеими руками, пытаясь вызволить из чужого плена бабочку.

Он сдался. Он разжал потный кулачок. Ладонь обдало холодным ветром. Бабочка упала и стала торопливо перебираться по траве. Ее сдвоенное крыло нервно покачивалось, как маленький лодочный парус.

Андрей поднял голову и увидел в Сашиних глазах слезы.

Потом, конечно, и Саша и Андрей не раз сверяли свои воспоминания, и выходило, что столько уж им обоим было сказано в самом еще детстве, что даже удивительно теперь, как можно было это сразу не разгадать. Но может быть и так, что все это только романтические забавы. Сведи каждого из них жизнь с другим, и тогда не было бы недостатка в символах.

Что до символов, то вот уж действительно, в чем никогда не было и нет недостатка. Тут память затаскивает и еще дальше, где ей, собственно, и делать нечего. В детство матери, например, в жизнь ее до него.

Как ни смотрите, а жизнь родителей, даже и до нашего рождения, никак нельзя назвать по отношению к нам случайной и посторонней. Один-два эпизода – и, кажется, наш собственный облик начинает уже в некоторой мере прорисовываться, уже хмурый зародыш его обретает свое местечко в пространстве, уже из множества вариантов жизнь отложила для него небольшую колоду. Не довод, что и в двадцать лет колода эта кажется нам невообразимо огромной. Теперь с каждым днем она будет уже только уменьшаться, каждый день будет уносить безвозвратно еще вчера доступные варианты.

Впрочем, об истинном своем начале мы обычно и понятия не имеем; кто знает, в какой древности его и разыскивать.

МАМИНО ДЕРЕВЕНСКОЕ ДЕТСТВО ПРОХОДИЛО ПОД ЗНАКОМ ВЕДЬМЫ. Родилась она за два года до революции, когда домовым, ведьмам и лешим еще не пришла пора исчезнуть под светом нового дня. Ведьмой была отцова мачеха, а ее неродная бабка. После смерти второго мужа всю свою зловредную силу обратила она на пасынка, для начала отделив ему с семьей и двумя дочками камору. В ней долгое время и жили они, а с ними – невыветриваемые запахи чеснока, конопли, зерна и перламутровых связок лука.

Редко встречалась Паша с блестящими глазами бабки, но чуть ли не всякое появление ее и разговор о ней были связаны с каким-нибудь, по большей части, страшным чудом. Отец говорил, что бабка задумала известить весь их род.

Появилась она как-то в каморе – ласковая, села у недавно прорубленного окна, пергаментным лицом своим тускло отражая разыгравшийся закат. Выпила кружку молока, утира-

ясь, пошептала в ладонь, улыбнулась на прощанье и вышла. Только сели они вечером ужинать, а вместо молока в кринке – вода.

На следующий день Паша и Дарья стали расшатывать из мести колья, торчащие из стены каморы. По ту сторону стены держались на них полки с ведьминой посудой. Бабка затаила обиду. Мать рассказывала, будто вечером тогда пристала к отцу в поле бешеная собака с бабкиными глазами. Отбилась она от нее палкой, рассадил голову за ухом. Утром уже повстречался с бабкой и заметил у нее рану в том месте, что и у бешеной собаки.

Паша, конечно, боялась бабку, но что-то ее к ней и тянуло. Сила влекла, чудо. Бывало, даст она им с Дарьей по прянику. Дарья тут же выкинет его и Паше накажет: «Не ешь, он поганый». Убежит Паша в кукурузу, съест там ведьмин пряник. Страшно, конечно, но еще вкусней оттого, что страшно.

Были случаи, что и помогала им ведьма. Так, впрочем, по пустякам. Пошел как-то отец взять после ночной пастьбы коней. Шел он по лугу, еще полному росы – утро было раннее, помахивал уздечкой. И так эта уздечка в траве промокла, что не мог он ее, как ни пробовал, просушить. Отдал бабке. Поглядел вечером: та сидит задумчиво во дворе над уздечкой, а из уздечки... молоко течет. Утром вернула сухой.

Трудно сказать, что больше отложилось в младенческом почти сознании Паши: то ли страх перед непостижимой властью ведьмы, то ли предчувствие того, что жизнь полна чудодейственных превращений и когда-нибудь и ее судьба может счастливо перемениться.

В ЛЕНИНГРАД РОДИТЕЛИ АНДРЕЯ ПЕРЕБРАЛИСЬ ПОСЛЕ ФИНСКОЙ. Первые месяцы, пока муж был в летних лагерях, жили в маленькой деревушке Тервайоке. К тому времени у них уже родилась дочь Валя (она умрет в блокаду, съев неостывший студень из казеинового клея).

Поселились поначалу в огромном доме. Дом был пустой, хоть волков гоняй, Прасковья боялась оставаться в нем с дочкой одна. Со своим супом в чайнике, который остался от прежних хозяев, бежала она к соседнему дому. Этот был заселен плотнее. Перед домом разложен костер, над ним на кирпичках – лист железа. На жести готовили еду.

С людьми было не так страшно. Запах костра напоминал деревню.

К зиме им дали в Ленинграде маленькую комнатку. Привезли туда из Тервайоке кровать с никелированными шарами, финскую тумбочку из карельской березы и трофейный радиоприемник «Stern-Radio».

Комнатка была оклеена газетами. Были среди них совсем старые, дореволюционные. Иногда вечерами Прасковья читала их, ожидая мужа.

Особенно любила она объявления – эти затерявшиеся во времени позывные. Например, в 1914-м какие-то жильцы с Лиговки решили через газету продать белый новый рояль. Белый рояль она видела в фойе театра, куда ее однажды водил муж. Рояль напоминал стоящего на упертых ножках бычка. Она подумала тогда, что в доме он может служить обеденным столом.

Уложив спать дочку, Прасковья представляла, как зайвится вдруг по этому адресу на Лиговке: «Вы продаете белый рояль?» – «Продаем». Старушка откладывает книгу и приглашает ее в комнаты. «Это муж из-за границы привез, – говорит старушка, – очень нужная вещь. Можно играть, если умеете, можно в качестве обеденного стола использовать. Если б деньги не нужны были...» – «Да, деньги, – кивает Паша. – Куда ж в городе без них». Замечая Пашин взгляд, на мгновение отвлекшийся на голубой стеклянный куб, старушка спрашивает: «А вы, собственно, по объявлению?...» – «По объявлению, по объявлению, – успокаивает ее Паша. – Прочла тут в газете... А и кубик этот можно? – спрашивает она неожиданно для себя. – В придачу к роялю. Я заплачу».

Она рассматривает рояль с видом знатока. В их комнату его можно втащить разве что боком, и то если ножки спилить. Вот кубик... Кубик бы она, пожалуй, и отдельно, без рояля, купила.

Представляя, как она приходит торговать рояль, Прасковья тихонько смеялась. Ей было забавно думать, что вот с тех пор две войны прошли и революция, и она из деревенского стручка превратилась в жену и мать, в горожанку, а рояль все еще продается.

Дело было, конечно, не в белом рояле. Сдался он ей. Другой раз она собиралась купить кадку для цветов или ковер. Всякий раз, мечтая о покупке, Прасковья представляла, что с ней изменится и ее жизнь. Говоря же совсем честно, она ждала, что вместе с вещью перейдет к ней секрет чужого счастья.

О счастье она стала мечтать, казалось, еще до того, как начала думать. Населялось счастье медленно. Первыми поселились в нем человеко-деревья и человеко-звери, вылетающие по утрам из ее сновидений. Позже Паша догадалась взять с собой сестренку, маму и отца: сестренку – когда та разговаривала с коровой или когда они с утра до заката собирали шелковицу, маму – когда она ткала на станке дорожки для полов и относилась к их шалостям терпеливо-равнодушно, отца – когда он собирал яблоки или нарезал, смешно отпустив нижнюю губу, к приготовленному стаканчику салю.

Запахи здесь играли тоже не последнюю роль: первый земляной запах, когда сходил снег, запахи огурца, смородины, вечерней полыни, запахи горелой ботвы, дождя, выскобленного и вымытого с мылом стола – все это тоже бережно отправлялось Пашей в счастье и жило там в ожидании ее.

Бывало, происходили и в ее счастье кое-какие перестановки. Одно время жила там соседская Васька, но после неизвестно из-за чего разгоревшейся ссоры Васька была из счастья изгнана. Ее место, по мере того как Паша взрослела, занимали то бычок Рыжик, то ночное купание в пруду, то Стасикова жалующаяся на что-то гармошка, то песни, которые они пели с бабами, то молодой председатель, присланный к ним из города, – она видела однажды, как он стоял на крыльце, подставив солнцу закрытые улыбающиеся глаза.

Однако постепенно Паша стала забывать, что счастье, о котором она столько мечтает, ею же самой и создано и что все оно – из примет той жизни, которой она каждый день живет. Ей стало казаться, что счастье – это та жизнь, которая не по ней сшита, которую даже и видеть ей нельзя, а она тайно подсмотрела ее. Совсем как барский дом, в который девчонкой ей так хотелось проникнуть.

Она была еще маленькой, когда барин вместе с семьей удрал за границу. Паша хорошо помнила этот день.

Помещичий дом стоял в саду на горе, важно опоясан деревянным забором. Сквозь забор было видно, как у крыльца величаво прогуливаются цветные птицы с маленькими головками. В окна виднелись красивые обои. В то время обоев в деревенских домах не было.

Мать Паши выпекала барину и всей его дворне хлеба и, бывало, притаскивала душистую буханку домой. Девочка представляла, что весь барский дом пропах, наверное, вкусным хлебом, и тихо завидовала маме, которая снова назавтра отправится туда.

Не сразу связала она с этим хлебом набухшие вены на маминых руках, ее болезненные причитания по ночам. Как-то Паша поняла из разговора, что женщины в пекарне, изнемогая от работы, придумали хитрость. Одна из них разувалась и месила тесто ногами, другая сторожила у входа. По первому знаку месившая тут же исчезала в уборную, а третья, отдохнувшая, в это время окунала руки в тесто.

С тех пор барский хлеб уже не казался Паше таким вкусным. Но дом и цветные птицы за оградой влекли с прежней силой.

Вместе со всеми побежала она в тот день, когда хозяева сбежали, к барскому дому. Уже издали увидела в раскрытые ворота толпу баб и мужиков. Кто-то раскачивался на раме, кто-то вытаскивал из дома кадку с пальмой, мальчишки копошились вокруг паровой молотилки...

Не к дому – к себе испытывала в тот момент Паша жалость, к своей неисполненной мечте повидать внутренность усадьбы в ее красивой, беззаботной, отдельной от села жизни. С пустым сердцем взойшла она на крыльцо и, не успев углубиться в темную галерею, сразу же за дверью в стене увидела окно или, быть может, другую дверь, из которой навстречу к ней выходила... Паша.

Девочка вскрикнула и выбежала вон.

Уже в избе она поняла, что наткнулась на прислоненное к стене зеркало. Больших зеркал в деревне не было, и себя со стороны Паша до этого видела только в озере.

В хате Паша застала сестру. Та уже побывала в барском доме, и теперь ей представлялось, что в пустых и темных коридорах ее хватает за плечи кто-нибудь из не уехавших молодых помещиков. В тот момент и случись Паше обнять сестру за плечи. С Дарьей произошел нервный припадок...

С тех пор Паша боялась зеркал, помня фосфорический обман того, первого, его колдовскую вредность и последовавшую затем болезнь сестры.

Уже став взрослым, Андрей по своей привычке искать во всем символический смысл пытался как-то истолковать этот мамин рассказ. Почему, например, пойдя на встречу с чужим счастьем, мама встретила там со своим отражением. Именно это почему-то дальше всего уводило его мысль.

Мы стремимся к счастью, как к совершенству, думал он, потому-то и видится нам здесь чудо. Но в действительности и в любви и в счастье каждый стремится к себе или, вернее, к себе подобному, хотя этого и не сознает. Поэтому и собственный лик ужасает несоразмерностью и уродством по сравнению с ожидаемым чудом. Это, наверное, и называют разочарованием.

Он снова и снова спрашивал маму о ее детстве. Но то ли память мамы стала к старости слабой, то ли вопросы он задавал не те...

Как-то прочитал, что проектировщики электростанции попросили старожилов описать давнее землетрясение. Необходимо было узнать, какой сейсмической устойчивостью должен обладать фундамент станции. Зашли в дом старика. «Сильное, дедушка, было землетрясение?» – «Потрясло», – отвечает. «Ну как сильно? Светильники качались?» Кивает головой: «Качались». – «Здорово качались?» – «А что такое светильник-то?» – «Да вот же – лампочки». – «А... Нет, не качались. У меня лампочек тогда не было».

Вот так примерно и они с мамой часто разговаривали. И тягостно ему после этих разговоров было – как будто не она, а он сам чего-то не может вспомнить.

Но проходили недели и месяцы, и снова он приставал к маме с расспросами. И опять то же: лампы – светильники.

Шли годы. Уже и о его детстве стали вспоминать как о давней давности. И он, оказывается, не все уже мог вспомнить. Когда и было оно, детство?

ХОТЯ СОБСТВЕННОЕ ДЕТСТВО ПРЕДСТАВЛЯЛОСЬ ЕМУ, конечно, ярче и наряднее. Вспоминалось оно временами подробно, даже до невероятного подробно. Послевоенное детство с еще не везде восстановленными домами, очередями за мукой и воскресными винегретами. Они не знали еще о том, что предшествовало их появлению на свет, а потому и свое существование воспринимали как должное, в войну играли беззаботно и увлеченно и уже любили посмотреть на эту бесценную жизнь сквозь цветное стеклышко.

Помнит он, например, голубой стеклянный куб, купленный мамой по случаю, сквозь который любил рассматривать комнату и улицу через окно. Вещи и деревья – все переламывалось в гранях кубика и застывало, как в пантомиме, словно бы желая что-то выразить. Он вер-

тел кубик перед глазами, наслаждаясь послушным перепрыгиванием вещей. Белые слоники с их немецкого(?) радиоприемника покорно выскакивали в окно; в посеревшей листве купалась фарфоровая статуэтка балерины, к лицу балерины тянулся мордой пластмассовый олененок... Над ним оранжевой сферой зависал абажур, дергался, как на ниточке, угрожая накрыть собой весь этот голубой театр. Но так и не дотягивался до балерины и до слоников, и мальчик откладывал кубик с тревожным чувством того, что театр будет продолжаться там без него.

Но это воспоминание так, пустяк. Настоящие же воспоминания – о моментах пробуждения. Они-то и есть жизнь, они-то и важны.

Интересно в этом смысле, что следующий эпизод опять связан с Сашей. Если все же принимать в расчет некий умысел судьбы, то этот был уже вовсе из ряда вон и не делал чести ни ее вкусу, ни чувству меры.

Они с Сашенькой увидели друг друга в бане.

Какой же он, должно быть, еще маленький был, если в баню ходил с матерью, и стало быть глаза его еще не были открыты для женской наготы.

В баню ходили рано, к самому открытию. На стенах, пригревшись за ночь, спали тараканы. Они смотрели в разные стороны, словно сухие блестящие брызги. Мать обливала их из шайки кипятком. С этого и начиналась баня.

Он садился на скамейку, которая не походила на теперешние, мраморные, а вся была какая-то пестрая, словно из орехов, залитых коричневой смолкой. Похожа на плитку казино. Шайки гремели, как неведомые ему музыкальные инструменты, глухо звучали голоса.

И вот в этот банный гул отворилась дверь и вошла Сашенька. Взглянув на нее, он вдруг впервые туманно постиг смысл того, что они оба нагие. И что оба они разные. И что уж совсем непонятно – ему стало стыдно своей наготы.

Сашенька смотрела на него, улыбалась и ничуть не собиралась прятаться. Он же, глядя на Сашу, вспомнил вдруг, как они с мальчишками весной снимали с ольховых веток кору, нежно-зеленую, почти белую изнутри. Под корой обнаруживалась сама ветка. Она была гладкая, сочащаяся, с приоткрывшимися вдруг изгибами и плавными углублениями. И понял он тогда, что это красиво.

ДЕЛО, ОДНАКО, В ТОМ, была ли там в бане действительно Саша. Чем дальше он уходил от этого дня, тем меньше в нем оставалось уверенности. Как и в том, с Сашей ли он боролся за бабочку.

Эти воспоминания память вложила в него уже потом, когда он точно знал, что Саша – это Саша. И они стали один к одному. Но нет-нет, и думал: а что, если все же не Саша?

Тогда ведь и всего выстроенного в воображении здания не было, или оно должно было бы в этом случае быть другим. В его комнатах можно, конечно, жить, принимать друзей, испытывать радость с женщиной, но чего-то оно будет всегда лишено. Первоначальной простоты замысла, что ли? За день в нем должны скапливаться необъяснимые запахи, а по ночам сниться дурные сны.

Сама Саша, кстати, не помнила ни куста с бабочкой, ни бани. В ее воображении вставало что-то совсем другое, чего, в свою очередь, не помнил он. Например, медношерстный ирландский сеттер с заиндевевшей мордой и глазами, не умеющими выражать радость. Они почему-то вместе играют с ним, прижимаются к его жестким дымящимся бокам, пролезают под животом и садятся на спину. Вкус закушенной vareжки, запах собачины и снега – новогоднего цирка.

Как ни старается, он не может этого вспомнить. Во всей жизни он знал только одного сеттера, который принадлежал отцу его школьного приятеля. Тот погиб где-то на Дамбае, и даже тело его не вернулось в дом. Когда кто-нибудь из друзей приходил навестить убитую горем мать, собака с лаем бросалась на звонок. Она кусала пришедшему ботинки, визжала, подпрыгивала к лицу, шумно принюхивалась и, скоро убедившись в ошибке, скорбной трусцой убе-

гала в глубь коридора. Однажды, бросившись, как всегда, на звонок, она отчаянно рванулась мимо пришедшего в приоткрытую дверь и больше не возвратилась.

Но этот сеттер никак не мог быть тем, о котором вспоминала Саша.

НА МОЕМ ПОДОКОННИКЕ ЦВЕТУТ ЯБЛОНЕВЫЕ ВЕТВИ. Вчера я нарезал их в купчинском саду. Время от времени я подхожу к ним. Тот цветок, который накануне начал раскрываться, уже смотрит на свет реснитчатым глазом. Вокруг еще несколько матово-зеленых мохнатых бутончиков. Часа через два бутончики побелели, потом вздулись, подхожу – один из них уже выбросил белый лепесток.

Жизнь моя видится мне такими же вспышками и эпизодами, как и те изменения, что происходят с ветками, вставленными в бутылку, из которой еще вчера я пил молоко.

Все дело, как известно, в соотношении частей. Может быть, поэтому мне вспоминается сейчас та часть жизни, в которой никогда не было Ее. Вернее, в которой Она была без меня.

Я ВИЖУ СВОЙ ДВОР НА ФОНТАНКЕ, один из самых старых в Ленинграде. Кажется, я мог бы написать о нем оду.

Еще до революции в нашем дворе располагались солдатские казармы. Два огромных серебристых тополя в саду были в ту пору подростками, а роскошного сада вокруг них, быть может, и вообще не существовало. Возможно, раньше на месте сада находился плац или солдатские беседки с углублениями для костра.

Тыльной стороной двор выходил на Загородный проспект, как раз к тому пустырю перед ипподромом, на котором совершалась гражданская казнь Чернышевского. Теперь на этом месте спиной к ТЮЗу сидит на огромном стуле Грибоедов и сквозь пенсне без стекол вглядывается в проезжающие трамваи.

Двор был буквально перенаселен прошлым. До самого конца пятидесятых часть двора занимал пересыльный пункт, или, как мы его называли, «пересылка». Отсюда в годы войны солдаты уходили на фронт. Здесь в блокаду мама стирала военным белье и получала за это миску похлебки. Немцы бомбили этот дом с особой прицельностью – все-таки воинская часть. Однажды, пройдя два этажа, бомба упала в нашей комнате и... не взорвалась.

Мать не знала, что благодарить она должна наших военнопленных, которые изготавливали такие вот не разрывающиеся снаряды.

Нам нравилось, прицепившись к грузовику, пробраться в расположение «пересылки». Особенно на воскресное кино. Солдаты принимали нас добродушно, сажали на колени, угощали семечками. Любимые запахи моего детства: запах кирзы, махорки и терпкий запах потного обмундирования. Так же, вероятно, пахло от моего отца, когда его батальон уходил с «пересылки» на фронт.

Наши солдаты, наверное, совсем не думали об этом, не подозревали они и о том, что когда-то на их месте стоял мятежный Московский полк. Да и мы узнали историю двора случайно, когда к нам приехали снимать фильм «Две жизни».

Жизнь двора между тем шла своим ходом. Около дровяных сараев на пыльном пустыре мы играли до изнеможения в футбол, пока посланный свечой мяч не пропадал в незаметно потемневшем небе, давая понять, что день окончен. В то время как матери наши стирали в прачечной белье, мы поджигали в лужах карбид или, забравшись на доски, жевали вар, который, по рассказам отца, партизаны использовали вместо зубного порошка. В августе, не дождавшись срока, мы дружно обирали деревья полуспелой кратеги, набив карманы и рты мучнистой несладкой ягодой.

При дележе деревьев нередко возникали потасовки, в которых я всегда проигрывал. Но в целом, живя в окружении ватаг с Лештукова и Ивановской, мы держались сплоченной стаей. Иногда между ватагами случались крупные выяснения отношений, и тут я становился неузна-

ваем: пропадали страх и неуверенность, а на смену им приходило вдохновение и желание бороться за коллективную справедливость.

Взрослую жизнь мы наблюдали до времени со стороны. Помню идиллические сборы взрослых на кухне за вечерним лото. Создавая дилижанс из стульев и одеял, мы слышали, как позывными спокойствия и уюта до нас доносились названия лотошных бочонков: «туды-сюды» – 69, «топорики» – 77, «барабанные палочки» – 11. А с каким воодушевлением выходили мы всей квартирой на покатые крыши домов, забирались в сохранившиеся с войны наблюдательные будки, чтобы увидеть первый искусственный спутник Земли.

Жизнь «коммуналки» при этом совсем не была похожа на идиллию. Вскипевшие семейные страсти нередко из комнат перемещались на ту же самую кухню. Сколько глухих размолвок, сколько ссор, заканчивающихся драками. Были здесь местного масштаба Тартюфы и усердные Яго, страдающий печенью полковник, из бравого вояки превратившийся к старости в мизантропа, и образумившаяся Манон, которая на наших глазах изумительно легко преобразалась в домашнего тирана.

Метаморфозы этого мира были непостижимы, порой дики. Днем, например, мы любили заходить в столярку к Матвею, подышать запахом древесного спирта, выклянчить какой-нибудь звонкий брусочек. Не было человека добрее, чем Матвей, когда он работал. Но мы знали уже и другого Матвея – озверевшего от водки, бегающего с топором за женой и обещающего порешить ее.

Вглядываясь утром в лицо Матвея, мы пытались уловить в нем признаки вчерашнего преобразования и не могли.

Но вся эта частная, непонятная, страстная жизнь словно бы умалялась и меркла два раза в год – осенью и весной, когда двор выходил на субботник. Что-то детское появлялось в лицах людей, словно эти женщины в окопных ватниках, мужчины в офицерских галифе, – каждый, кто брал лопату, погружался памятью в необыкновенные времена.

Да и для нас это были счастливейшие часы. Бегая с носилками, разжигая костры, забрасывая землей саженцы, мы чувствовали себя так, будто принимали участие в событии мировой важности.

Я уже знал и о Чернышевском, и о братьях Бестужевых, выводивших из нашего двора Московский полк на Сенатскую площадь, и о военнопленных, изготавливавших на фашистских заводах невзрывающиеся бомбы; в день субботника я словно оказывался в их ватаге.

С наивной хитростью оттягивали мы момент возвращения в полумрак комнат. Казалось, день этот будет тянуться месяцы, годы и никогда не кончится.

Но он, разумеется, кончался.

Я возвращался в жизнь, в которой не видел ни пафоса, ни смысла. Учеба наскучила. Я выстроил оборону из четверок, и меня не трогали. Книги читал беспорядочно. Закадычных приятелей не было. Отец умер, когда мне не исполнилось и двенадцати лет, а матери, не утратившей надежды на устройство своего счастья, стало не до меня.

Образом этой комнатной жизни представляются мне мгlistые вечера. Я один. За два-три метра от нашего дома прямо напротив окон опускается в Фонтанку обморочное солнце. Пыль тонким лещим перемещается по квартире. Мне грустно. Из вечерней мглы одно за другим возникают фантастические видения. Иногда я воображаю себя разведчиком из кинофильма, спасающим попавших в плен товарищей. Постепенно я снова преисполняюсь отваги и совершенства, чувствую свою призванность, и от подвига меня отделяет мгновение. До сих пор мне кажется, что в эти вечера Она уже была со мной.

Однако как же долго тянутся эти вечера... Скоро восторг сменяется чувством одиночества. Поначалу я и в нем пытаюсь найти какую-то отраду, но ненадолго. Мне скучно с самим собой. Из темноты смотрит магниевым глазом репродукция «Последнего дня Помпеи» – след

тяги родителей к красоте. Мне страшно заснуть. Кажется, все эти статуи и колонны обрушатся на меня, и только усилием воли я удерживаю их на полотне.

Страх этот сохранился на долгие годы. Я боролся со сном, пока он насильно не сваливал меня. Но уже через мгновение вновь пробуждался в потном испуге оттого, что уже похоронен под римскими обломками.

Не открывая глаз, я прислушивался к звукам. Сквозь двери слышался одушевленный ропот и похрапывание воды из плохо прикрытого крана, громкое, как хруст грецкого ореха, потрескивание кирпичей в остывающей печке... Я начинал ощущать драгоценную работу своих легких, чудодейственную способность слуха и с новой остротой – что все это когда-нибудь исчезнет.

Когда мать уходила на работу, я вставал и замирал против зеркала, которое до краев было наполнено утренним светом. Лицо виделось неотчетливо, над губой был пушок, пуговицы куртки блестели головками львов. Я представлял, что меня уже нет, а это мой портрет, то есть тот я, которого уже не было и которого поэтому я мог бесконечно жалеть и любить.

САША НЕ ПОМНИЛА, когда это в ней определилось и произнеслось впервые, что она Его любит. Конечно, когда-то это началось, но оттого, что она не умела вспомнить начала, ей иногда казалось, что она прямо-таки родилась с этим, впервые с этим чувством и проснулась к жизни.

Его двор был минутах в двадцати от барака, где жила она со своими родителями. Она приходила туда к Ленке Шпаликовой, с которой занималась до пятого класса в хореографическом кружке. Там она и увидела его впервые.

Небольшие его серые глаза на правильном лунообразном лице казались всегда грустными, а, может быть, рассеянными. Он словно что-то отыскивал вдалеке. Когда взгляд его падал на Сашу, и они встречались глазами, тело ее покрывалось колючим жаром. А он как будто спрашивал: «Ты не притворяешься? Все притворяются. Чтобы не скучно было. Сейчас вот и я начну». И тут действительно начиналась такая трепотня, что хотелось то смеяться, то затыкать уши.

Но глаза его подводили.

А эти мягкие волосы, которые ветер укладывал и трепал, как ему вздумается...

Может быть, тогда она впервые поняла, что любит его. Что, наверное, любит. Случилось это классе в пятом или шестом.

В бараке под ними жила бабка Вера. Жила она одиноко, ходила в просторных коричневых и черных платьях. У нее, кажется, не было родных. Сына, погибшего на войне, вырастила она одна и теперь получала за него пенсию, на которую и жила.

Сколько Саша ее помнит, бабка Вера копила на матрац. Принеся домой пенсию, она отдавала первым делом долг процентщице Капитонихе, а остальные раскладывала всегда одинаково:

– Это на матрац, а это на леденцы.

На леденцы значило у нее – на жизнь. Хотя леденцы бабка Вера действительно любила и даже со своей маленькой пенсией угощала ими ребят. «Щас вот, погоди», – завидев кого-нибудь из детей, говорила она и, улыбнувшись голубенькими глазками и насупив седые усики над губой, лезла в карман.

Эта приговорка хранилась у нее на все случаи.

– Бабка Вера, у тебя нет случайно фитиля для керосинки?

– Щас вот, – скоро отзывалась бабка Вера и скрывалась в комнате.

– Бабка Вера, неси тарелку, у нас сегодня суп с клецками.

– Щас вот, – с удовольствием отвечала та и бежала за тарелкой.

И даже перед сном, уже в темной комнате, с кряхтением устраиваясь на постели, бабка Вера мечтательно приговаривала:

– Щас вот, щас вот...

Саша дружила с бабкой Верой. Всякий раз, как та помоеет в тазике голову, а потом просушит волосы перед раскрытой печкой, стуком швабры в потолок она звала к себе Сашу расчесать, как она выражалась, кудри. И вот однажды, когда бабка Вера сидела распаренная перед печкой, а Саша вдоль бабкиной спины проводила по волосам толстым гребнем, что-то ей как будто вспомнилось. И тогда она вдруг со всей ясностью подумала о Нем. Ей захотелось, чтобы он провел гребнем по ее волосам так же, как она делает это сейчас бабке Вере, и тут же стало стыдно этого желания, отчего оно разгорелось еще сильнее.

– Баб Вер, – попросила Саша, – а проведи-ка мне вот так гребешком.

Баба Вера улыбнулась так, как будто для нее не составлял секрета смысл этой просьбы.

– Садись-ка, – сказала она, – щас вот. – И, тяжело встав со стульчика, посадила на него Сашу.

Саша покраснела от жара, доходившего волнами из печки. Вслед за прикосновением бабкиного гребня по голове начали бегать мурашки и добегать до плечей, отчего она ими легонько передергивала.

Небо еще догорало за окном, словно обугливая стволы и ветви деревьев, и костерок в печке попыхивал: то вздернется пламенем, то побежит ниткой вдоль последней головешки. Саша, не уставая, поворачивала голову то на огонь, то на закат, словно сравнивая, какой из них быстрее гаснет.

– Ну, хватит, что ли? – спросила, наконец, бабка Вера. Саша засмеялась, повернулась на стульчике к бабе Вере и уткнулась лицом в ее толстый живот.

Саша так привыкла к мыслям о Нем, что будто он и действительно всегда был рядом. Забудется, например, у окна – дождевые капли слетают с крыши, разбиваются о булыжники, висят серебряными груздями – и покажется, что они видят это вдвоем. Увидела однажды, как ест Капитонихин козел: отрыгнет кусок и снова потянется к нему длинной мордой, и затрясет мелко бородой, пережевывая; засмеялась на эту мерзкую повадку, приглашая и Его вместе посмеяться. А кругом пусто.

Тогда она, странно сказать, начинала представлять себе их будущее вдвоем, какую-то сельскую утреннюю дорогу, по которой они идут рука об руку. Будущее – единственное из времен, которое протекает согласно законам высшей справедливости.

С наслаждением думала Саша о том, как будет рассказывать Андрею обо всем, что происходило с ней, пока они еще жили каждый своей отдельной жизнью. Например, о буйных, нелепых соседях с обидной фамилией Суки.

Однажды в новогоднюю ночь Суки позвали их посмотреть на елку с зажженными свечами. При них поставили елку на патефонный диск, дядя Ваня зажег свечи и пустил ход. Обернувшись пару раз, как сарафанная красавица, елка тут же вспыхнула, и они вместе тушили ее половиками.

Она хотела рассказать Андрею о Капитонихе, у которой в комнате висит доска с меловыми записями долгов соседей. Саша однажды прокралась, пока Капитониха готовила свинье корм, и стерла все долги мокрой тряпкой.

Саша мечтала о том, что когда они поженятся, то обязательно купят бабке Вере матрац и детям своим все время будут покупать шоколадное масло, а фикуса у них в комнате не будет. Потому что вчера она узнала, что он вредный – по ночам выдыхает углекислый газ и можно задохнуться.

Все, что понравится ей, она тут же прописывала в их будущей жизни. У соседей стали появляться шелковые абажуры – она решила, что у них в доме будет абажур. Потом стали входить в моду пикейные одеяла, и она мысленно загнула еще один палец. Чернобурки, румынки,

крепдешин, пальто с пелеринкой, которое купили Маше Зайцевой, – все это она примерила на себя. А ему они сразу же купят двухколесный велосипед. Она уже знала, что он мечтает о велосипеде.

Саша проявляла чудеса смекалки: льстила, выслеживала, входила в доверительные отношения с его соседями, друзьями и с друзьями его друзей и скоро знала о нем все, что в силах знать один человек о другом, не умея проникнуть в его мысли и сны.

Но пришел день, и Саше открылось, что то, в чем привыкла находить она столько радости, называется несчастьем.

День этот запомнила она на всю жизнь. За руку пришли сразу две беды.

По дороге из школы ее догнал соседский Толик – долговязый парень с рыжими ресницами и бровями, по прозвищу Моль. Покрываясь на ее глазах крупными пятками, под каким-то дурацким предлогом он открыл ей тайну родителей. Так Саша узнала, что живет с неродным отцом.

Никогда не забыть ей эти пятки на рыжем лице и подрагивающие в улыбке червячки губ. Как ни странно, больше всего угнетало Сашу то, что это известие принес ей Моль. Вспомнился эпизод из детства. Ей было лет семь, ее не выпускали на улицу после воспаления легких и устроили баню прямо в комнате – в оцинкованной ванночке. Вдруг раскрылась дверь, и из коридора потянуло сырым холодным воздухом. Она обхватила руками плечи и обернулась: в дверях лежал притворно упавший Толька-Моль и улыбался. Может он из вредности сделал это, чтобы напустить в комнату холод? Никогда в жизни, даже к Капитониному козлу, не испытывала она такой брезгливости. И надо же было случиться, чтобы именно Моль рассказал ей сегодня правду об отце.

Дело было весной. В воздухе арбузно пахло оттаявшей стружкой и опилками, которые наносило ветром с «Катушки».

Саша пыталась что-нибудь подумать о своем родном отце. Настоящей в ней была сейчас только обида на родителей. Она понимала, что никогда не посмеет спросить их о том, что узнала сегодня, и от этого становилось еще тяжелее.

Не заходя домой, Саша пошла к пристани. С Невы дул ледяной ветер. Он мгновенно прогнал из тела последнее тепло, и глаза ее сроднились со всем на этом выстуженном берегу. В стороне с баржи сгружали гравий, высвеченный солнцем до последнего зернышка. Рядом возвышалась желтая гора песка. Еще недавно они съезжали с нее на санках. Двое мужчин большими сачками ловили с торцов корюшку. Мальчик разбивал бульжником кирпич. Все они, и несколько берез на пригорке, и поваленный дуб, и перевозчик в лодке с красными руками существовали как бы отдельно в этом ледяном сквозняке, стараясь безуспешно сохранить остатки тепла внутри, и все поэтому были близки и понятны ей.

Ютка и Шиндя тоже оказались на месте у перевоза со своим раскрытым деревянным чемоданчиком. Он – маленький, в армейских галифе из диагонали и в ватнике, она повыше, худенькая, в лисьей короткой шубке с улыбающимися плешинами, в резиновых полусапожках. Так и остались они в памяти Саши виньетками детства, присевшие как грачи у своего переносного магазинчика.

Сегодня в чемодане у них Саша разглядела красные глиняные свистульки, раскидаи, бумажные веера и петушки из жженого сахара на палочках от эскимо.

Она купила одного петушка и стала сосать его. Скоро Первое мая, подумала девочка, школа пойдет на демонстрацию с собственным духовым оркестром, который будет играть недавно разученную песню «Солнечный круг», и они станут петь ее до хрипоты и раз, и два, и три, а мальчишки будут пускать раскидаи.

Почему-то именно эта картина праздника вызвала у нее первые за день слезы. Вдруг вспомнилось, как однажды в ЦПКиО отец купил ей эскимо, а сам полез прыгать с парашютной вышки. Отвлеченная эскимо, она отпустила его спокойно, но, увидев, как маленький отец пол-

зет в середине вышки, заплакала, закричала, умоляя его спуститься. И отец увидел ее сверху, и улыбнулся ободряюще, даже помахал рукой, но не спустился. В тот день ей было просто страшно, и больше ничего, казалось, что отец может разбиться и она останется на газоне одна, с липкими от эскимо руками. Но сейчас, вспомнив это, Саша подумала, что так мог поступить именно неродной отец, родной спустился бы непременно.

Подумав так, она еще сильнее заплакала, но не от обиды на отца, а оттого, что могла так о нем подумать.

Домой Саша вернулась словно бы другим человеком. Слезы высохли. Ей надо было решить пять вариантов к завтрашней контрольной по алгебре. Надо выпустить полетать по комнате щегла. К тому же сегодня ее очередь надраивать веником пол в коридоре.

Но не зря говорят, что беда не приходит одна.

Не успев скинуть в прихожей пальто, Саша почувствовала беспокойство. «Пека, – позвала она щегла, – голубчик, ты что молчишь?» Однако и на голос ее Пека не ответил, не запрыгал с жердочки на жердочку, как обычно. Саша вскочила в комнату, и поначалу ей показалось, что клетка пуста, но, подойдя поближе, она увидела Пеку. Он лежал на спинке, лапки его были поджаты, а восковые крылышки чуть отвалились от тельца.

– Баба Вера! – закричала Саша и бросилась вниз.

Баба Вера, разводившая в корыте щелок, повернула на девочку снизу светлое лицо, и оно показалось Саше равнодушным.

– Баба Вера, – сказала она со странной, словно навязанной ей улыбкой, – Пека умер.

Ни слова не говоря, покатила с ней вместе баба Вера, словно пыльный дождевой шарик, к бараку; увидев щегла, прижала к груди руки и две слезинки выкатились из ее глаз.

– Ах, сирото ты мое...

Сашу не оставляли испуг и оцепенение.

– Наверное, он объелся, – сказала она машинально.

– Им объедаться-то, махоньким, нельзя, – согласилась баба Вера, вытирая слезы. – А может, по щеголке стосковался...

– Я хотела к лету выпустить, – сказала Саша.

– Конечно, – закивала баба Вера, и Саша слышала в этом: «Не терзайся, я ж знаю...»

– Щас вот, давай мы его, бедного, схороним, – сказала баба Вера. Она открыла клетку и небрежно, нежно вынула из нее Пеку.

Саперной лопатой вырыли они у барака ямку, завернули щегла в тряпочку, присыпали землей и могилу приложили камнем, чтобы коты не разрыли.

– Им только дай, – сказала баба Вера, и видно было, что котов она тоже любит и не сердится на них.

Саша бродила возле барака, и нехорошо ей казалось ступать на землю, в которой лежал теперь Пека. А на земле этой щепки сосновые, и первая травка из нее потянулась, и металлические пластинки буквой Ш валяются, разбросанные, и кое-где куриным пометом как изморозью их обметало. Смотрит Саша на землю и не в силах взгляда от нее оторвать.

То, что сообщил ей сегодня Моль, казалось, навсегда отняло у нее ее легкость, но она чувствовала, что как бы и укрепило ее. Но нет, нет – она забыла о Пеке, о смерти. Теперь сама ее готовность жить, любить, терпеть, прощать показалась Саше странной и ненужной.

Глупые куры, вздергивая шеями, прохаживались возле Пекиного камня, и надо было бы их отогнать. Но она не сдвинулась с места.

Где-то в районе мыловаренного завода, возвращая ей слух, сипло свистнул паровоз. Птицы перед наступлением темноты были особенно возбуждены и торопливы. Артемовы полетному распахнули окно, и из него доносились звуки трубы. Она еще не успела принять то, что вернуло ей зрение и слух, но почувствовала, как в душе что-то начало оттаивать и легонько

зануло. И тут впервые за целый день Саша вспомнила о Нем, и уже одно то, что она может сейчас увидеть Его, представилось ей спасением.

Саша нашла его в саду. Их сидело человек десять на сдвинутых скамейках. Они подбрасывали по очереди спичечный коробок, ожидая своей очереди играть в настольный теннис «на мусор».

Первой ее заметила Ленка Шпаликова.

– Привет, – сказала Шпаликова. Была как раз ее очередь кидать коробок. Она подцепила его ногтем большого пальца – коробок перевернулся и упал этикеткой вниз.

– Пять, – сказала Ленка и подцепила коробок еще раз. – Пусто. Ты будешь? – обратилась она к Саше.

Саша отрицательно покачала головой.

На Нем был сегодня с широким воротником серый свитер, в котором он ей особенно нравился. Он то и дело прятал в воротник подбородок. Когда она отказалась играть, он посмотрел на нее своими грустными глазами, и Саша попыталась в ответ улыбнуться. Но улыбка ее опоздала – он уже подбрасывал коробок.

– Ого, двадцать пять! – воскликнул кто-то, когда его коробок стал на попа. – Давай еще.

– Десять, – сказал Он.

– Даешь! – протянул тот же завистливый голос.

– У нас как в швейцарском банке, – улыбнулся он.

Саша подумала, что совершенно не знает, какие, собственно, у них с Ним отношения. Может ли она, например, сейчас подсесть к нему, отозвать в сторону или нет. И поняла, что не может. Мама бы сказала, что они просто малознакомые люди. Саша не посмела бы даже пригласить его на свой день рождения.

Но кто же тогда ее близкий знакомый?

«Пусто». – «Тоже пусто!» – «Пять!» – слышала она голоса, которые казались ей такими же неодушевленными и бессмысленными, как удары теннисного шарика о ракетки.

– У меня Пека умер, – сказала вдруг Саша тихо. «Ну же, ну же, ты слышишь?!» – крикнула она про себя. Он один из всех оторвал глаза от прыгающего коробка, будто не задевая чужого слуха, слова ее перенеслись прямо к нему.

– Эй, мастера, какой у вас десяток? – спросил Дзюба.

– Игра до двух, – ответили ему. И тут же: – Все. Следующий.

Следующим был Он. Разыгрываясь, он то и дело, как бы прося прощения, поглядывал на нее. Саша смотрела на него не отрываясь.

– Кто такой Пека? – спросила Шпаликова, натягивая юбку на свои угловатые коленки, из-за которых год назад ее выгнали из балетной школы. Саша повернулась к ней недоуменно – откуда она знает про Пеку? Потом сказала сдавленным голосом:

– Щегол. – И тут же снова повернулась к Нему. Он внимательно взглянул на нее, но уже шел счет, он был увлечен и на нее больше не посматривал.

– Птиц держать в доме – варварство! – сказал Дзюба. – Эй, мастера, какой счет? Сейчас возьмет ракетку король пинг-понга, – добавил он, явно имея в виду себя.

– Пунк-пинга, – иронически сказал Он.

– А собак – не варварство? – спросила Ленка, зная, что у Дзюбы живет овчарка.

– Собака другое дело. Собака – друг человека!

– А Дзюба – друг собак, – добавил кто-то ехидно.

– А по самовару? – вскинулся Дзюба.

Саша почувствовала, что вот-вот разрыдается.

«Господи, неужели он не понимает, что я к нему пришла, – думала она. – Ну, проиграй, проиграй! Что тебе стоит? Ну, пожалуйста!»

Но он выиграл. Обыграл он и короля пинг-понга, и Ленку Шпаликову, и Славика Данакина, который, считалось, играл гораздо сильнее его. Он был в азарте, раскраснелся, скинул свитер. Народ стал понемногу расходиться, оставив надежды на реванш.

– Этот теперь, пока под стол не свалится, своего места не уступит, – заметил кто-то неодобрительно.

– Пошли, что ли? Уже шарика не видно, – сказал очередной проигравший.

Но тут вскочил Данакин, крикнул:

– Контровую?

– Битте-дритте, – сказал Он.

Небо темнело, подрагивая зелеными всполохами. Ветер утих, и стало неожиданно тепло, даже душно.

Саша вышла на улицу и увидела, что в дальнем конце ее, прямо на асфальте стоит огромная, с обеденный стол, луна. Фонари копошились на ней белыми светлячками. Луна была совсем близко, и Саша подумала, что до нее, наверное, можно доехать на трамвае. И тут, словно в ответ на ее мысли, одинокий вагончик сбросил у Сашиних ног сноп искр и раскрыл двери. Она вскочила в пустой вагон. Как только вагон тронулся, луна начала медленно подниматься над улицей.

У КОГО ИЩУ ПРОЩЕНИЯ? ЧЕГО ХОЧУ? Кто наградил меня этим поздним зрением, позволяющим сочинять правдоподобные небылицы о той, которая была для меня то тайной, то тоской, то мыслью, то прихотью, то раскаянием? Хочу заплакать, а тороплю слово к слову.

Потом кто-нибудь поймет причину моей смелости или трусости, и окажется, быть может, что только в ней, в этой причине, все дело. Но и тогда, я думаю, не поймут возгласа датского принца, притворяющегося безумным: «О боже! Заключите меня в скорлупу ореха, и я буду мнить себя повелителем бесконечности, только избавьте меня от дурных снов».

...Есть воспоминания, подобные навязчивому сну: чем больше хочешь забыть их, тем чаще они проникают в им одним заметную щель и вновь возникают перед тобой – до жути осязаемые и оснащенные подробностями.

Я болен. Зимой у меня обнаружили порок сердца – следствие перенесенного на ногах гриппа. Три месяца пролежал я в постели, не чувствуя даже легкого недомогания и то и дело собираясь вскочить и пробежаться по комнате. Только боязнь того, что я буду веревками привязан к постели, как обещали врачи и родители, останавливала меня.

Я сходил с ума. Язык уже с утра был шершавым от лекарств, будто я наелся хурмы. Бодрая песенка: «Бери коньки под мышку – и марш на каток!» – действовала сильнее пыток. Я стал выключать радио. Но тут же начинал слышать отрывистые голоса мальчишек за окном. Они возникали и исчезали, как брошенные в пропасть камешки. Яблочный запах снега из форточки обжигал ноздри.

Оставались книги. Читал я почему-то украдкой, как будто и это мне было запрещено. А книги были важные, те, что не по возрасту. «Осуждение Паганини» Виноградова, «На воде» Мопассана и его же «Милый друг». Герои их – гений, философ и любовник – и каждую книгу я воспринимал как их исповедь. Доза этих преждевременных для меня откровений оказалась не смертельной лишь потому, что я, видимо, не все умел понять, казался себе то одним, то другим, то третьим, оставаясь обыкновенным школьником, у которого обнаружили порок сердца.

Комната, в которой я лежал, была длинная и темная. Угол у печки отгораживался вишневой занавеской с белыми цветами. За ней стояла изъеденная древесным жучком фисгармония. Как раз перед болезнью я упросил родителей забрать ее у соседей, собиравшихся выбросить инструмент на чердак.

По ночам из-за занавески ко мне выходил глиняный лысый доктор. Он подолгу разговаривал со мной, брал меня за руку, и мне казалось, что этот огромный улыбающийся доктор зовет меня к смерти.

Ключ ко многим видениям детства утерян навсегда. Не знаю, почему это был доктор, почему он был глиняный. Да и глиняный ли? Если и глиняный, то до обжига глины, пока она еще легко поддается деформации: собрать морщинки на лбу, улыбнуться, совершить плавное движение кистью руки. Но почему я боялся его? Ведь он был добр...

Когда никого в комнате не было, я вставал с постели, садился за фисгармонию, половина клавиш которой западала, и, не имея никакого представления о нотной грамоте, подолгу импровизировал. Уже одним тем, что решался войти за занавеску, я бросал вызов глиняному доктору.

Чувствовал ли я себя в тот момент творцом? Вряд ли. Хотя... Клавиши руководили моими пальцами, фисгармония вздыхала, когда в слепом повиновении ей я погружался в дремучие звуки и вдруг вплывал в быстрое течение случайной мелодии.

Комната, в которой я пролежал всю зиму, с вышитой на белой скатерти девушкой, бесконечно протягивающей мне ложечку с микстурой или манной кашей, с запахами лекарств, густо замешанными на запахе душистой герани, – все преображалось музыкой. Тупые удары некоторых молоточков о деку были так же необходимы здесь, как и все остальное.

В эти дни я часто думал о Ней.

Случалось, особенно вечерами, какая-то теплота проходила волной по телу, становилось радостно и уютно, будто я – шарик, удачно попавший в лузу. Зрение начинало играть. Так бывает при высокой температуре: путаются масштабы предметов. Маленький троллейбус за окном катился бесшумно и, казалось, вот-вот въедет на подоконник и обронит на пол лиловые искры. А тени длинных плоских кактусов на занавеске, напротив, напоминали высокий тропический лес, в котором ползают огромные черепахи. Черепахи были непомерно крупные божьи коровки. В комнате прибавлялось теплых коричневых теней, как на старых картинах. Я видел ее картиной комнаты и комнатой, то есть как бы и видел и вспоминал одновременно.

В такие вечера я начинал осторожно искать нужное мне воспоминание. Знал: если правильно вспомнить, радость станет полнее.

Так вот – таким воспоминанием часто оказывалась Она.

Смешно сказать: в эти годы мы еще, по существу, не были знакомы. Я не знал, где она живет, есть ли у нее братья и сестры. О чем она любит думать перед сном – я ничего про нее не знал. Сначала она просто была из круга тех, кого знаешь в лицо, потом перешла в другой, где у всех уже были имена, затем, встречаясь на улице, я стал говорить ей «привет», но не останавливался.

Но вечерами далекость эта казалась неважной, одной из тех преград, которые теряют силу для больных и влюбленных.

Наутро в импровизациях появлялась Ее мелодия, с ней я чувствовал себя в безопасности, она легко побеждала мелодию глиняного доктора.

В марте мне разрешили снова пойти в школу. В первый же день я почувствовал себя в классе чужим. Дело даже не в том, что за непонятными мне шутками стояли какие-то приключившиеся без меня истории, без меня произошли невидимые перемены в отношениях, образовались новые, соперничающие между собой кружки. Главное – я сам был другим. Эпидемические веяния, вследствие которых у всего класса вдруг появлялись щелкалки, изготовленные из фотопленки, или начиналось повальное увлечение Жюлем Верном, который всегда казался мне скучным, теперь мало меня интересовали.

Одноклассники моментально почувствовали это. В первую же неделю меня почему-то не предупредили о намеченном на следующий день срыве нулевого урока.

Наутро один из всего класса я пришел в школу. Во всю жизнь не забуду себя в пустом классе. Я смотрел из окна на кошку, которая нескончаемо долго бежала к мусорным бачкам, оставляя на фиолетовом снегу черную пунктирную дорожку, и чувствовал, что, как только кошка добегит до своих бачков, я расплачусь. Два моих неестественно белых лица отражались в незамерзшей части стекол.

То, что обо мне забыли, было страшнее презрения или насмешки.

В класс вошла Варвара Михайловна, географичка. Она все поняла без слов.

– Ну, хорошо, посиди, повтори пока что-нибудь, – сказала она, наконец. Я услышал в интонации холод и неодобрение.

«За что?» – подумал я тогда.

Запах карболки, мастики, мокрой тряпки и снежного воздуха из окна – запах покинутости и непоправимого несчастья.

Не за Колю Ягудина ли отплакалось мне тогда?...

Помню, что уже в то утро вместе с обидой во мне мелькнуло желание быть как все, окончательно забыть о фисгармонии, снова стать благополучным, любимым и глупым. Я держался еще некоторое время в роли отверженного, но, в сущности, это уже было поражением. Свое повзросление я воспринимал как тайную болезнь. Я ненавидел себя за то, что не могу жить как прежде, что школьная жизнь, о которой во время болезни мечтал я как о счастье, теперь кажется мне обузой.

Настоящая встреча с Ней теперь казалась еще более неосуществимой, чем до болезни.

Я чувствовал себя совершенно несчастным. Гений, философ и любовник, пришедшие ко мне из книг, сбили меня с привычной колеи, но не наставили на новый путь.

И вот, помню, уже перед летом я спустился после уроков, как всегда в стороне от всех, в школьный вестибюль. Солнце, ворвавшись в окна, подняло клубы розовой пыли. Тонкие наши тени пересекали пол и с ртутной проворностью втекали на противоположную стену. Слепнув от солнца, все говорили громче обычного, смеялись. Девчонки крутились у зеркала. Вокруг меня кипел и извивался веселый школьный ад.

Вдруг между горящими лицами девчонок со светящимся вокруг их лбов рыжим волосяным дымом я увидел в зеркале свое лицо, погруженное в чью-то тень. Оно поразило меня свечечной бледностью. Глаза смотрели угрюмо. Мне показалось, что несколько девчонок с досадой обернулись в мою сторону.

Пытаясь скрыть слезы, я выскочил на улицу. Солнце ошпарило глаза. Я прищурился и увидел ожидающую меня вдалеке маму. Она стояла в старомодном крепдешиновом платье с плечиками, пояском и широкими, еще и ветром вздутыми рукавами. На руке у живота висела большая плоская сумка с громким металлическим замком. Зимой, когда я еще лежал в постели, она сделала новую прическу – корзиночкой, к которой я неосознанно ревновал.

Сейчас же острая жалость к себе неожиданно перешла в жалость к маме.

Мама помахала мне рукой. Я машинально ответил и вдруг (что со мной случилось?) бросился навстречу ей вприпрыжку, поддал кому-то портфелем, пропустив мимо удивленный взгляд, и еще издали закричал: «Привет!»

От меня разило здоровьем, беззаботностью и уверенностью в себе. Мама должна была подумать, что у ее сына много обожающих его друзей, что все мне дается с лету, и ей остается только гордиться мной.

До сих пор не могу понять, как тогда, на школьном крыльце, родился во мне этот жест, в каких потемках сознания совершился. Одно очевидно – тогда совершилось непоправимое. На школьном крыльце я узнал о существовании лазейки, в которую теперь мог убежать и которую никогда уже не выпускал из виду.

Я бросился наверстывать упущенное за время болезни. Гордость уступила место тщеславию, а оно насыщалось уже только тем, насколько мне удастся быть похожим на других и быть

из них лучшим. Я брался за все. Как ни далека мне была техника, я, повинувшись моде, стал вместе с другими мастерить радиоприемники, часами простаивал у магазина «Пионер» в поисках ферритов, триодов, панелей и вскоре преуспел в этом деле.

Только перед глиняным доктором я по-прежнему чувствовал себя беззащитным, только при встрече с Ней оставался беспомощен.

Временами мне казалось, что она совсем не замечает меня, и я из кожи лез, чтобы завладеть ее вниманием. При ней я навязывался в заведомо безнадежные поединки и часто побеждал. Я мог при ней перепрыгнуть с одного ряда сараев на другой в том месте, которое еще вчера казалось площадкой для самоубийц. Одно время я стал замечать, что они с подругой подолгу сидят у теннисного стола, наблюдая игру мальчишек. Уговорив приятеля, я стал тренироваться по утрам, до начала уроков, чтобы однажды поразить ее. Но часто, уже бросившись в очередную авантюру, я затылком чувствовал, что она даже не смотрит в мою сторону.

Однако куда было страшнее, когда она все же обращала на меня внимание. Почему-то это случалось именно в те моменты, когда я забывал завоевывать ее.

...Мы разбиваемся на команды для игры в казаки-разбойники. Уже все парами подошли к атаманам: «Мать, а мать – чего тебе дать?...» Остались почему-то только мы. Она берет меня за руку и тянет в сторону:

– Или ты не будешь?

– Буду.

Она смотрит на меня, будто выпивает глазами. Взгляд – долгий глоток. Потом, словно от перенасыщенности, глаза наполняются усталостью, почти страданием и умирают под большими веками, но уже через мгновение возникают вновь для нового долгого глотка.

Я теряюсь под этим взглядом, я кажусь себе обманщиком. Мне радостно, но еще больше страшно. Я уже забыл, что вступал вместе с ней за вишневую занавеску. Выходит, боялся я не ее взгляда, а себя самого?...

И вот мы стоим с ней перед атаманом, и уже она говорит:

– Мать, а мать, чего тебе дать – кошку или собаку?

И нас, только что брошенных волной друг к другу, атаманской прихотью разводит по враждебным командам, и мой названный враг смотрит на меня из-за пограничной черты своим невозможным взглядом.

В КЛАССЕ УЖЕ СВИРЕПСТВОВАЛА ЭПИДЕМИЯ ВЛЮБЛЕННОСТИ. Влюблялись бурно и невпопад. Андрей внезапно влюбился в Фаину.

Фаина жила на Бородинке в отдельной квартире. Отец ее был доктором биологических наук, а мать... Мать – просто красивой женщиной.

Как-то по весне его вместе с Леной Винокуровой послали навестить долго болевшую Фаину. Лена на следующий день сама свалилась в постель, и он, не найдя попугайчика, отправился один.

Встретила его Фаина мать, в переднике, с белыми от муки руками. Лицо ее излучало радость, отсвет которой случайно попал и на него, и ему сразу же захотелось подольше задержаться в этом доме.

– Проходи, – сказала Фаина мать, прикрывая дверь локтем и не переставая улыбаться. – Фаина в этой комнате. Только осторожно – там темно.

Он представил, что увидит сейчас лежащую в постели Фаину и рыбу-ночник и у ночника пирамидку лекарств. Но не было ни ночника, ни лекарств, ни даже запаха лекарств, а посреди комнаты в ванночке плыл кораблик с елочной свечкой вместо трубы. Он еще не успел разглядеть Фаину, когда услышал ее голос:

– Привет. – Андрей робко подошел к кораблику. – Садись прямо на ковер, – сказала Фаина. – Ну, поворачивай же его ко мне. Это вчера папа из ГДР привез.

Он повернул упершийся в стенку кораблик, и тот сам поплыл к противоположному берегу, где его ждала Фаина. Под днищем кораблика слабо светился сумрак воды.

Они играли, изредка перекидываясь словами.

– Математичка наставила вчера восемнадцать двоек, – сказал он.

– Она, по-моему, просто истеричка, – отозвалась Фаина равнодушно.

– Опять кричала, что мы катимся по наклонной плоскости.

– Ну да, – жеманно усмехнулась отличница Фаина.

– Какая-то тупость, – сказал он.

– Ее, конечно, жалко, – сказала Фаина. – Попробуй научить чему-нибудь Дзюбина. Легче научить зайца зажигать спички.

– А что у тебя? – спросил он.

– Не знаю, – Фаина пожала плечами. – Субфебрильная температура держится.

Он не знал, что такое субфебрильная температура, но переспрашивать не стал.

Кораблик время от времени подплывал к Фаине, освещая ее склоненное лицо. Оно было матовым и почти несуществующим. Казалось, свет и темнота, пока кораблик дрейфует в его водах, заново придумывают его, добавляя в него все новые и новые черточки.

– Ну, все, хватит, – сказала вдруг Фаина и задула свечку. Лицо мгновенно исчезло, как будто подтвердив, что и впрямь было колеблющейся выдумкой.

Щелкнул выключатель, и он увидел Фаину в домашнем фланелевом халатике, румяную, в пятнах от хрустальных камешков люстры. Это была первая девочка из класса, которую он увидел в домашней обстановке. Халатик его доконал.

Он принялся тупо разглядывать стенку оцинкованной ванны, которая напоминала ему бок небрежно очищенной рыбы. Фаина стала показывать комнату: это папина библиотека, «Жизнь животных» Брема, Диккенс, ну и всякое... Это диорама какого-то там восстания – папе китайские студенты подарили. Это...

– Бери конфеты. – Конфеты были, видимо, тоже немецкие, с одеколонным привкусом. Этот одеколонный привкус, как и все в комнате и в Фаине, показался ему необыкновенным.

Стол был покрыт бархатной скатертью с вышитыми сценами охоты.

Их позвали пить чай. Игорь Семенович из-под нависающих косматых бровей посматривал на них весело и что-то рассказывал про Германию. Андрей уже в тот вечер не мог вспомнить что. Помнил приятно надтреснутый голос и почему-то фразу:

– Что же меня убеждать, например, что сероводорода нет, когда, если пукнуть, я первый ощущаю его запах. – Наверное, оттого запомнил, что никто даже в шутку не укорил Игоря Семеновича за этот детский прозаизм. У них в коммуналке было принято держаться более чинно. Эта чинная корочка проламывалась только в моменты ссор. Так же как не мог он вообразить подобный разговор у них на кухне: невозможно было представить, чтобы в Фаиной семье ссорились так, как ссорятся его соседи. Вместо крика и ругани здесь, наверное, происходят иронические пикировки. И болеют в коммуналке совсем иначе – тяжело и коротко, – не так, как Фаина.

О чем-то еще они говорили в тот вечер, о чем-то... Да. Тогда только что прошел фильм-опера «Евгений Онегин».

– Тебе понравилось? – спросили его.

– Да.

– И кого же тебе больше в этой истории жалко?

– Онегина, – ответил он неожиданно для себя.

Голос Игоря Семеновича зазвенел:

– Ты, брат, не иначе, родственную душу пожалел.

А по улице мел сухой снежок, и ветер фантазировал на ледяном асфальте.

Андрей словно бы выпал из Фаиной квартиры в томительную паузу дня, в мерцающие весенние сумерки. Вода в Фонтанке лилась выпуклым светом. У театра Горького зажглись два фонаря. «Не иначе, родственную душу пожалел», – повторял он, смутно ощущая в этих словах впервые открывшееся ему право на характер.

Ад влюбленности, как и полагается, имел свои круги, в которые была заключена вся тогдашняя жизнь. Фаина была только одним из них.

У нее были черные блестящие глаза и руки, полные у локтей. Она производила ими жеманные движения, поправляя мешавшую ей резинку нарукавников. Ему хотелось схватить эти полненькие локти и больно стиснуть их.

Однажды в вагоне электрички, просвеченном солнцем и наполненным серой пеной от пробегающей за окнами листвы, он ощутил запах, наполненный воспоминанием о счастье. Не сразу заметил он в руках у девушки с сонными глазами букетик пламенных флоксов и, только выйдя на перрон, вспомнил, что так пахло в Фаиной квартире.

Круги ада... Это и девушка с флоксами, уплывавшая от него в окне электрички, и одноклассницы в белых футболках, которые бегут вдоль шведских стенок, отбрасывая в стороны ноги; это запретные игры в «бутылочку» с обжиманиями и поцелуями в жестких кустах, это поющая за стеной соседка, с которой только что пил на кухне молоко с колотым сахаром, это попавший на глаза черноморский рапан с глянцеви́то-эластичным зевом, от которого вдруг приливает к лицу жар. А сладкий ананасный запах липовых почек, приведший их однажды с приятелем к низким окошкам раздевалок школьного бассейна? Слово равнодушные жуки, бродили они около них, нащупывая ослепительную щель. То, что они увидели там, надолго повергло их в молчание и дрожь. Все это пока не имело названия, как не имело еще отношения к душе.

Все словно бы в заговоре против тебя, все обращается к инстинкту, зазывает блаженством, словно вода под обрывом, и кричит: «Не будь дураком, прыгай!» А эхо отзывается: «Ату его!..»

Хитрые и похотливые невольницы из «Тысячи и одной ночи», Митина любовь, отданная в шалаше деловитой крестьянке, и, конечно, зачитанный до дыр Мопассан, в историях которого участвовали, сами того не зная, десятки иногда лишь мельком виденных искусительниц, испытавших вместе с тобой все бездны порока.

И во всей этой гонке по кругам ада то и дело мелькает одно и то же лицо – то молящее, то укоряющее, то восторженное, то злое. Хочется остановить, рассмотреть его. Но страшно остановиться.

В эти месяцы он видел Сашу редко, она почти перестала бывать в их дворе. Оба они незаметно переступили невидимую черту и перешли в другой возраст. По ту же сторону черты люди должны знакомиться заново.

Он не раз пытался подчинить ее своему воображению, но Саша не давалась, словно бы не желала вписываться в его фантазии. Не раз он мысленно сталкивал их с Фаиной, испытывая странное удовольствие от их несовместимости.

Но каждое утро Фаина, пахнувшая флоксами, неизменно оказывалась рядом, Саши же не существовало вовсе.

И вот настал тот день. На влажном доминошном столе Васька Мясников разложил перед ним только что отпечатанные, искривившиеся, как осенние листья тополя, фотографии незнакомой голой женщины. Глаза ее были скрыты черной полоской.

Через несколько минут он уже был в жарко натопленной комнате, за вишневой занавеской, где на сундуке покоились днем одеяла и подушки. У неплотно прикрытой заслонки сипло постанывал ветер, пахло раскаленной краской. Молчал ящик фисгармонии, звенел над головой мохнатый сверчок.

И вдруг, в тот момент, когда совсем уже, было, пропал он для себя, мелькнуло перед глазами лицо Саши. И было оно словно ставший зримым звук. С тех пор исчезло оно надолго из его памяти и, быть может, самую живую, самую трепетную часть ее унесло с собой.

НА БАЛКОНЕ ОН СПРАШИВАЕТ, РАЗГЛЯДЫВАЯ ЦВЕТЫ:

– А эти как называются?

– Это львиный зев, – отвечает мама.

– Странное название, – говорит Андрей. – Но пахнут как! Я с детства запах помню. А эти?

– Это петунии.

– Петунии, – повторяет он машинально.

У него нет памяти на имена. И на цветы. Вот уже который год он так выходит на балкон и заново узнает у матери их названия, и радуется им, и запоминает, чтобы тут же забыть.

– Я пойду погуляю, мама, – говорит он, чувствуя, что фраза вышла чужая. – Пойду прошвырнусь, – добавляет он.

– Иди – говорит мама, – ты совсем не отдыхаешь в последнее время: тетрадки, педсоветы. Он уже второй год работает в школе.

И мамин ответ он слышит тоже как бы вчуже, как будто в переводном фильме, где фразы так меланхолически и странно соотносятся с движением губ говорящего.

Одинокое шатание стали привычны ему. По вечерам он прогуливал свою тоску. А может быть, правильнее сказать, сам он тащится на поводке у тоски. К концу прогулки тревога обычно переходит в чувство необъяснимого грустного удовлетворения, в спокойствие и почти счастье.

Сегодня он направляется к парку, в глубине которого мощным волчком гудит мототрек. Сначала он проходит мимо «машинного кладбища», разглядывая в прорехи бетонного забора чрева полуторок и «эмок», трактора с облупившейся оранжевой краской, экскаваторы, ковши которых напоминают разинутые челюсти доисторических животных.

Рядом с «машинным кладбищем» тянется канал. Стоячая вода его густа как мазут. В ней застыли перламутровые разводы нефти. Ему представляется, что художник, писавший закат, окунул сюда по ошибке свою кисть.

Камень падает в канал глухо, не образуя кругов, лишь на миг усиливая и без того резкий запах.

Скоро канал кончается. Нужно только пройти по доске, середина которой погружается под ногой в воду, переступить через залитые смолой трубы, и начнется парк. Видно, что он давно уже растет сам по себе. Наверное, когда-то здесь был склад. Стоят насквозь просматриваемые амбары, жутко поскрипывая распахнутыми воротами.

В парк можно войти через один из этих амбаров. Но он боится испугнуть обитающих там птиц и идет дальше.

Справа в конце коридора, образуемого густой бузиной, видна калитка, а за ней почти совсем закрытый зеленью дом. Он никогда не подходил к калитке и не знает, кто живет в этом доме.

В конце бузиной аллеи можно еще увидеть кусты с красивыми белыми цветами. Он не знает, что это кусты жасмина, и уже в который раз хочет описать кому-нибудь эти цветы и спросить их название, но всякий раз забывает.

Вообще весь этот парк напоминает пейзаж его жизни. И амбары, дальние ворота которых выходят прямо в небо, и разинутые доисторические челюсти экскаваторов, и этот дом, в который он никогда не зайдет, и цветы, название которых он не знает, – все это не просто что-то значит, не просто намекает, например, на какие-то неисполненные обещания, но является как бы панорамой его жизни, развернутой в виде этих невнятных аллегорий. Он не может объяснить этого до конца, но знает: в пейзаже не только его прошлое, а и будущее.

Домой он приходит поздно. Мама ждет и все же вздрагивает, когда он открывает дверь своим ключом.

– Я не сплю, сынок, заходи – говорит она.

Глаза у нее совсем больны – катаракта. Она уже давно живет на лекарствах, не может вязать, не может долго читать или смотреть телевизор. Поэтому ждет его в комнате, не включая света. И все время помаргивает, как будто испуганно прогоняет ресницами кружки сна. Он порывисто целует ее и обнимает, и ему уже не кажется, что он все это наблюдает с экрана. На мгновение ему представляется, что он, наконец, открыл ту калитку и вошел в дом, и оказалось что там его ждет мама. И что там было гадать и мучиться, когда только так и могло быть и лучше этого ничего быть не могло.

– Пойдем на балкон. – говорит он. – Что мы здесь с тобой коптимся.

Они выходят на балкон. На улице влажно.

– Табак раскрылся, – говорит он. Название табака он почему-то помнит. – А это что? Эти тоже к вечеру раскрываются? Я их раньше не видел.

– Что ты, – тихо говорит мама. – Они давно распустились. Ты просто не замечал.

– А как называются?

– Царские сапожки.

– Забавное название, – говорит он. – А похожи на фригийские колпачки.

– Что это за колпачки? – спрашивает мама. – Я о таких цветах не слышала.

– Фригийцы – это древний народ, – говорит он. – Они еще до нашей эры жили. Фригийские колпачки – это не цветы.

Мама прижимается к нему. Гладит его по голове. И он понимает, что значит сейчас эта ласка. В ней удивление перед тем, как могли люди узнать о колпачках, которые носил какой-то давно исчезнувший народ, и гордость оттого, что ее сын причастен к этому таинственному знанию и оно как бы даже так легко для него и привычно, что он говорит ей сейчас об этом мимоходом.

Он прижимает к себе голову мамы. Он не сдвинулся с места, но внутренне уже торопится с балкона. И думает о завтрашнем дне в школе, о ребятах, которые должны ощущать всегдашнюю уверенность учителя.

Он вспоминает о цветочном кусте за той калиткой и думает о том, что сейчас можно было бы спросить у мамы, как он называется. И не спрашивает.

Однако вернемся, как диктует последовательность событий, в Отрочество, когда кажется, что жизнь вот-вот может оборваться, а через секунду – что она будет длиться вечно, когда за каждым поворотом мерещится бездна, а оказывается – земля и долгий, долгий путь по ней.

СКОРО СТАЛО ИЗВЕСТНО, ЧТО К ОСЕНИ ОНИ ПЕРЕЕДУТ, барак обещали снести и на месте его развести парк.

Саше казалось, что не только люди, но и сам барак, и деревья, и даже куры чувствовали, что всему этому уголку на земле скоро придет конец. Вишня под окном вышла цветом – в июле листья стали сворачиваться и чернеть, и ягоды сохли прямо на ветках. Куры залетали в окна, и хозяйки, что ни день, резали к обеду куренка.

Бабку Веру увезли ночью с приступом стенокардии, а через два дня она умерла в больнице, не дождавшись новоселья. Рассказывали, что за час до смерти она уже ни с кем не говорила и никого не узнавала, а только шепотом приговаривала что-то в ожидании облегчения. Саша не простилась с бабушкой Верой и несколько дней все принималась плакать. Особенно по ночам, когда барак пел на разные голоса и постанывал, как человек.

Ей представлялось, что все эти скрипы и запахи, небо в черном, нарушаемом ветром кружеве листьев, все это обреченное, шумное, жестокое и милое ей сообщество людей уже исчезло и не существует, а только кажется. А настоящая жизнь барака происходила теперь

только в ней самой, она взяла ее на память и ходила теперь по двору, улыбаясь курам, которых не было, разговаривая с домом, дыша в жару привычным речным запахом цемента. Все они были уже одним длинным, подробным, приятным и хлопотным ее воспоминанием. И когда клен под окном засветился от тайного источника оранжевым и стойким пламенем, Саша и этому улыбнулась, как будто и его свечение она успела опередить своей волей и теперь это была только удачная ее находка – засветить его в условленный час, и только его, клена, послушание.

Не то чтобы Саша не радовалась предстоящему отъезду – отъезд был неизбежен и не нуждался в ее заботе. Радость совершалась в ней сама собой. Они уже получили смотровые и съездили поглядеть новую квартиру на пятом этаже в блочном доме. В ней было светло, пахло новым полом и клеем. Саша несколько раз крикнула в потолок: «Ау!», и эхо всякий раз накрывало ее звонким облаком. Отец ползал с сантиметром в руках, решая, как помирить в одной комнате комод и кровать. Мама радостно причитала над газовыми горелками. А из дома напротив доносились патефонные звуки вальса.

Скоро и элегическое прощание с бараком оборвало свою песню. Что-то, быть может, очень многое кончалось с ним, и вместе с тем оставалось ощущение, что оно не довершилось, и, пока оно не довершилось, уезжать нельзя. До отъезда оставались считанные дни, а Саша чувствовала, что ее словно несет на полной скорости с горы и она хватается за мелкие кустики, пытаясь остановиться. Ей даже снился не раз этот кромешный полет с горы, и она в ужасе просыпалась.

Она решила во что бы то ни стало встретиться в эти оставшиеся дни с Андреем и обо всем ему рассказать. Несколько дней Саша сторожила его вечерами. Сидела на дворницкий ящик наискосок от его парадной и ждала. По многу раз проговаривала про себя все, что должна ему сказать. Но слова и фразы будто полировались от частого употребления, и она начинала придумывать новые. А через некоторое время и это проходило, и она уже ничего не сочиняла, а просто ждала. Но его все не было.

Однажды ей почудилось, что он смотрит на нее из лестничного окна, но, едва она подняла голову – он исчез, и, сколько ни вглядывалась в отсветы стекла, больше ничего не удалось разглядеть.

Саша так никогда и не узнала, что там, в окне, она видела действительно лицо Андрея. За несколько дней до этого Андрей заметил Сашу, поджидающую его у школьного крыльца. Он сразу понял, что она ждет его. В ней чувствовалась какая-то необычайная решимость. И Андрей испугался: но не отсутствия в нем нужных слов, а вот этой именно силы Сашиной решимости, которая, пойдя он ей навстречу, увлекла бы его во что-то неизвестное. В конце концов, он решил, что эта девчонка надоела ему своей привязчивостью, и радовался разгоравшейся в нем бодрой, самодовольной злости.

В последний день Саша не пошла к дому Андрея. Сидела на берегу, смотрела на воду. Она уже думала о новой школе и о новых друзьях. И уже была рада, что они уезжают из барака. Договаривалась сама с собой, что в воскресенье нарвет цветов и поедет на могилу к бабе Вере.

Цвет реки все время менялся. Вода стала сначала лимонной, потом ослепительно синей, потом фиолетовой и, наконец, погасла.

Уже к ночи вернулась Саша в пустую комнату. Родители были в гостях. Посреди комнаты стояли чемоданы. Белье и посуда были увязаны в широкие черные платки. Казалось, все это кто-то свалил в спешке, спасаясь бегством. Только белеющие в темноте постели говорили о том, что здесь живут. Из распахнутых дверей шкафа пахло нафталином, сухой булкой, засахаренным малиновым вареньем, но и это уже были запахи покинутого жилья.

Саша легла, голова ее закружилась, и ей представилось, что она плывет. Рубашка приятно холодила плечи, Саша ощущала свое здоровое гибкое тело, как оно постепенно нагревается, и думала о том, что впереди ее ждет, наверное, много хорошего и что это теперь ни от кого не зависит, кроме нее самой.

На полу и на вещах подрагивал светлый квадрат окна: он был тоже забыт кем-то, и кто-то скоро должен был за ним вернуться. Слева за стеной тетя Нюра ворчала на сына: «Погоди вот, никотинщик, умру раньше времени или вот уеду. Это для тебя-то я старая...» В комнате справа дядя Ваня ремонтировал приемник, и вместе с дымом сквозь паклю и порванные обои просачивался терпкий, почти съедобный запах канифоли и горячего олова.

Но все это существовало сейчас как бы помимо ее сознания. Она лежала, смиренно вытянув ноги и боясь спугнуть находивший на нее сон.

Утром, едва открыв глаза, Саша увидела, как отец, наклонившись в постели над мамой, передает ей из губ в губы косточку абрикоса, и, еще не успев понять, что это значит, почувствовала, что от вчерашнего покоя в ней не осталось и следа.

Губы родителей были глупо округлены, как у мальчишек, которые любят дуть в дворницкий шланг или пить из него воду.

Прямые волосы матери рассыпались на подушке, глаза были скошены и счастливо дрожали. Мать выпускала косточку, а отец втягивал ее в себя, и у него худели щеки.

Саша вдруг поняла, что ее нет сейчас с ними. «Как же они смеют, чтобы им было хорошо без меня!» – подумала она. Но эта мысль мелькнула и исчезла.

Они с подругами не раз уже говорили о пугающе привлекательной близости между мужчиной и женщиной, но мысли об Андрее были для Саши чем-то совсем другим. Даже когда она мечтала о том, что у них будут дети, и тогда это не представлялось ей следствием той физической близости, о которой они говорили с девочками. Собственно, эта сторона жизни и вообще никак ей не представлялась. Она была твердо уверена, что у них это будет иначе, чем у других, она не знала как, но иначе, лучше.

И вот сегодня в том, что она увидела, эти ее несовместимые представления противостоительно соединились, и ей захотелось плакать. В этом своем чувстве великой досады она создала себя взрослее и лучше родителей. Но как еще не хотелось ей быть взрослее и лучше их!

Утро было солнечное. За окном шумел ветер. Тени листьев перебежали по лицам и плечам. Саша представляла, что все это происходит под водой, и от этого ей становилось еще стыднее и неприятнее.

Она не выдержала. Высвободив из-под подушки руку, уронила, словно ненароком книгу. И увидела, как мать неловко освободилась от отца, улыбнулась ей и с незнакомой горловой нежностью в голосе проговорила:

– Доброе утро, доча.

«Врет», – решила Саша. И не ответила.

Во всем в это утро виделись ей улики двойного существования родителей. Обида притворилась послушанием и равнодушием. Она не смотрела в глаза, но внимательно наблюдала исподтишка. И вскоре стала замечать то, что хотела заметить.

Первое ее открытие заключалось в том, что она знала все слова в разговоре и при этом часто не могла уяснить смысла его, словно отец и мать договорились понимать под каждым словом не то, что понимают под ним все. Но еще удивительнее оказалось другое: они и молча не переставали разговаривать друг с другом. Разговаривали, вытираясь двумя концами длинного полотенца, передавая тарелку супа, встречаясь глазами в зеркале.

И тогда напускная деловитость покинула ее. Она заскучала. Через час должна была прийти машина за вещами. Не принимая участия в последних суетливых сборах, Саша уселась у окна и принялась обмакивать в цветочную воду палец и пускать по стеклу капли наперегонки. А когда отец мокрой после крана рукой провел по шее дочери, ее передернуло, и она закричала, с ненавистью глядя ему в глаза:

– Не смей меня трогать! Ну!

У НИХ ЗАБОЛЕЛА МАТЕМАТИЧКА, и первые два урока неожиданно оказались пустыми. Подняв воротники, они с мальчишками вышли из школы и остановились на крыльце, раздумывая, что делать с внезапно выпавшей и, казалось, совсем ненужной им свободой.

Начинался ноябрь. Белая заря предвещала заморозки. Некоторые закурили, и сразу стали ощутимы запахи табака и промерзших за ночь листьев, возбуждавшие в организме чувство матерого нетерпения.

– Пойдем к баракам. Бить стекла, – предложил Дзюбин, шпановато опустив лошадиную челюсть.

– Тебе, Дзюба, лишь бы по чему-нибудь вдарить, – сказал Перельгин.

– А ты чо, понял? – повернулся к нему маленький Дзюба, резким взмахом руки спровоцировав защитное движение Перельгина. – За испуг – сайка.

Приняв великодушно сайку – легкий удар пальцами и тыльной стороной ладони в плечо, – Перельгин сказал:

– Да ладно, пошли. Делать-то все равно нечего.

Заводской район, где стояли бараки, несмотря на близость с их домом, казался Андрею чужим, неизвестным городом. Он редко бывал в нем. Здесь, выезжая из заводских ворот, поезда пересекали улицы, и это уже само по себе казалось фантазмагорией. В воздухе, особенно когда сеялся дождик, остро пахло гарью и формовочной землей. Это была окраина, город в городе, где все друг друга знали, и чужой, в случае ссоры, всегда мог рассчитывать на коллективный отпор. Бараки же Андрей и вовсе старался обходить стороной. Ему казалось, что в них живут какой-то непонятной для него породы и судьбы люди. Лишь иногда, когда кто-нибудь выходил по вечерам мучить гармонику, ему хотелось подойти к баракам поближе. Так же потом тянуло выйти на полустанке, когда видел из вагонного окна дом в лесу, и побитые дождем розы за забором, и девочку, поившую корову, и не просто, не безмятежно выйти, а словно испытать судьбу, но он так ни разу и не решился.

Сейчас он впервые так вот близко подходил к бараку. В окна его глядела оголенная дранка. На стенах таял ночной иней.

Андрей осторожно, словно боясь вспугнуть нежилую тишину, вошел внутрь. Здесь в коридоре валялись куски мешковины, слабо пахнувшие бензином. В глубине виднелась разинутая пасть сундука, в который Дзюба тут же забрался.

– А чего? Уютно, – сказал он, глуповато улыбаясь. Его попробовали закрыть в сундуке, но после суматошной борьбы тот Дзюба выбрался.

Комната направо была Сашиной. Он зашел в нее вместе с другими. Здесь было светло. На полу валялся флакончик из-под духов и пустая пачка гематогенных таблеток. Когда он был еще совсем маленьким, они употребляли эти сладковатые таблетки вместо конфет. Но потом, узнав, что те приготавливаются из бычьей крови, Андрей больше никогда их не ел.

В углу на обоях осталось темное пятно от небольшого коврика. Рядом с ковриком виднелся темный тонкий след в форме остроносой восточной тапочки – вероятно, для иглол и ниток. У матери висел на стене такой же.

Он поднял флакончик. Исходивший от него запах показался тоже знакомым. Но он никак не мог его вспомнить.

Запах этот был действительно знаком ему: запах чубушника, который рос кое-где у них во дворе, и из которого Саша вместе с подругами приготавливала духи.

Грусть и сожаление почувствовал, вероятно, каждый из них при столкновении со следами этой будто испарившейся из дома жизни. Но в этот момент все слышали звон разбитого стекла.

– Парни, давай сюда, – закричал с улицы Дзюба.

И тут Андрей почувствовал (так же, как и другие почувствовали), что грусть перешла в ощущение необычайной легкости, и то состояние матерого нетерпения, которое пришло на школьном крыльце, снова вернулось, подталкивая к действию.

Они выбежали, остановились в длинной тени барака и стали набирать камни. Звонкий стук их в ладонях напомнил далекий пересвист птиц.

Еще раз бросил Дзюба – промазал. В нерешительности улыбаясь, переминался с ноги на ногу долговязый Толя Хайкин. Прищурившись, замахнулся Перелыгин, и вдруг неизвестно откуда выскочила Саша, схватила Перелыгина за руку и крикнула:

– Не смейте!

Слезы выступили у нее на глазах, и они стали вертикально продолговатыми и жалобными. Она, вероятно, не сознавала, что больно держит Перелыгина за руку.

– Иди ты, дура! – вскрикнул Перелыгин и вырвал руку. – Кому они теперь нужны?

Звон разбитого стекла заглушил Сашин плач. Игра началась.

Андрей ощутил вдруг во всем теле вялость и равнодушие. На мгновение показалось, что он слышит, как поднимается из-за барака солнце. Это был, наверное, страшный, невозможный и только из-за большого расстояния не губительный шум. Казалось, что само время вместе со светом наваливается на них, еще минута – и они оглохнут, накрытые им, и время понесет их с собой, не спрашивая... Но все это были как бы чужие ощущения, и он о них тут же забыл.

Дом стоял с яркими и пустыми, как бывают у стариков, глазами и смотрел на них.

Часть вторая

– МОГУ ДЛЯ НАЧАЛА УГОСТИТЬ ТЕБЯ ЛОЖЕЧКОЙ КОФЕ, – сказал он, открывая дверь и пропуская вперед Сашу.

– Мерси, – улыбнулась Сашенька. – Я скину туфли?... Нет-нет, я босиком. – Саша при этом чуть покраснела, а он почувствовал себя вдруг стесненно, как будто не Саша к нему, а он пришел к ней в гости.

Андрей включил радио, и в квартиру вошел тихий стук метронома. «Черт! Обед у них!» – подумал он. Это была хоть и маленькая, но неудача.

Саша прошла босиком с букетом лиловых гвоздик на кухню, налила в пол-литровую молочную бутылку воды и, поглядывая, как кипящая муть, волнуясь, поднимается к горлышку, принялась раскладывать на клеенке цветы и подрезать ножницами стебли. Губы ее были старательно напряжены, а знакомые глаза изредка поглядывали на хозяина со смущенной улыбкой и в то же время как будто дразнили его.

«Неужели она решила оставить цветы у меня?» – подумал Андрей. Он чуть ли не с первой минуты приревновал Сашу к этим цветам. Но, выходит, если она так запросто расстается с ними, не столь уж они ей дороги.

Андрей представил на миг того, кто, может быть, подарил Саше эти цветы, и натянул воротник бадлона на подбородок. Увидев краем глаза этот знакомый жест, Саша еще упорнее сосредоточилась на цветах.

Ему захотелось спросить ее о чем-нибудь из того далекого, общего их времени, но он понял, что это ему сейчас не по силам.

– Где ты взяла ножницы? – спросил он. – Я их всякий раз ищу.

– На холодильнике, под книгой, – сказала Саша. – Теперь бери их всегда там.

Они оба рассмеялись.

– Прелесть, – пропела Саша, устроив, наконец, букет. – Я, пожалуй, и кофту сниму – жарко.

Она отнесла в прихожую кофту и вернулась в белой, заправленной под джерсовую юбку блузке с широкими кружевными воланчиками, в которых почти скрывались ее ладони. Эти

воланчики показались ему театральным дополнением к Сашиной мальчишеской фигуре, к ее быстрым и уютным движениям, и ему было не только приятно любоваться Сашей, но и еще больше, быть может, сознавать, что что-то до такой степени может ему в ком-то нравиться.

Час назад они встретились на Невском после почти шестилетней разлуки. Впрочем, была ли это разлука? – подумал он сейчас сентиментально. Просто они оставили, забыли друг друга в том возрасте, в который возвращаются только за воспоминаниями.

«Неплохо сказано. Осталось заблеть от умиления», – призвал Андрей, как всегда, на помощь остужающий голос своего сокурсника Тараблина, и мысли его вернулись к Саше.

Саша, конечно, вспоминалась ему, но редко и скорее в ощущениях, чем в деталях. Главных два. Первое, что взгляд ее как бы предъявлял к нему требования, которым он тогда не соответствовал и которые сейчас, напротив, были по силам ему, и поэтому теперь этот взгляд был бы ему скорее приятен. Второе, что это был счастливый взгляд, и источником счастья был как будто он.

Зажигая газ, доставая из шкафчика чашки, Андрей смотрел, как Саша прохаживается по кухне, ласково дотрагиваясь до вещей, и вспоминал сегодняшнюю их встречу.

Он скинул в университете зачет и решил пройти пешком. Уже второй день в Ленинграде стояла неправдоподобная азиатская жара. Прохожие двигались какой-то скользкой ошупью. Одуревшие собаки смертельно медлили перед колесами наезжавшего на них транспорта.

Ветер на мосту откидывал волосы, словно по творческой прихоти создавал из них варианты бетховенской гривы, и Андрей, покусывая губы, то невольно улыбался, то хмурился, стараясь подумать о чем-то важном.

Он свернул от Александровского садика на Невский, который, как длинная труба, всосал его в себя и перемешал с цветной толпой. Эта затерянность в толпе была ему сейчас приятна: здесь, среди вызывающе веселых шеренг, старушек в панамках, долго, как в прошлое, заглядывающих в свои довоенные сумки, среди папиросного дыма, смеха и ругани он интуитивно угадывает свой коридор, и идет независимый, в современном рыжеватом бадлоне, на который многие оборачиваются с завистью.

Настроение было спокойное и радостное, то есть то настроение, которое почти не покидало его в последнее время и для которого он всегда легко находил новые и новые поводы. Сейчас ему вспоминались стихи, которые он написал вчера:

Иду, мне никуда не деться
От ветерка бесшумных пуль,
Что налетели, как из детства,
И вдруг сказали, что июль,
Что середина назначенья,
Что вроде бы еще не все
Герои вышли для вращенья
По памяти...

Забыл, что там шло дальше, и сказал сам себе, как говаривал, прекращая чтение, кто-то из гениальных: «Ну и так далее...» Из всего стихотворения ему больше всего нравился «ветерок бесшумных пуль», хотя он и не смог бы объяснить, что, собственно, имел в виду.

Недавно Андрей опубликовал в стенной газете «Филолог» подборку своих стихотворений, хотя уже понимал, что стихи ему не писать. И когда его хвалили, он тоже все время помнил, что он не поэт, и то, что он был выше этих похвал и умел иронически отнестись к своим стихам, было ему приятнее, чем сама публикация.

Весной он сделал первое сообщение в СНО. Доклад в сокращенном виде обещали напечатать в студенческом сборнике. Назывался он «Оксюморные сочетания в лирике А. Блока».

Впрочем, в последнее время Андрей стал произносить не оксюморон, а оксиморон, после того как встретил это написание у Тынянова. С какой-то новой для него радостью он подчинил язык непривычному произношению. Так же с недавнего времени стал подчеркнута произносить, например, конкистадор вместо конквистадор, Бальмонт и Пикассо с ударением на втором слоге. И то и другое было правильнее и говорило о знании оттенков.

Это следование норме было в некотором роде знаком исключительности на фоне полунзнания и приблизительности, он этот парадокс отметил про себя и испытывал то же примерно чувство неестественного удовольствия, которое испытывает человек, недавно вставивший пластинки для выпрямления зубов.

Но все же и хмель некой «причастности», и реальные успехи были так – угольки костра. То же, что составляло самую суть огня определения не имело.

Андрей был убежден в существовании некоего феномена, выражающего, по его мнению, духовную суть времени. Слово «убежден», впрочем, необходимо взять в кавычки. Скорее, если такое возможно, это было убеждение чувства.

Феномен, сознаваемый им как некое единство всех проявлений времени, лишь в малой степени был доступен познанию. Он был раздроблен в явлениях жизни. Между ним и реальным человеком никогда нельзя будет поставить знак равенства. Но именно стремление к наиболее полному воплощению в себе современного феномена Андрей ощущал как свое тайное призвание.

Эпитет «современный» в эти годы потеснил все остальные. И самое удивительное, что покрывал этот эпитет все – от тончайших проявлений духа, открытий в области астрономии, биологии или физики до покроя одежды, тембра голоса и манеры поведения. Андрей вовсе не знал, да и не думал о том, что из всего этого должно получиться, но следование стилю времени было его главной и постоянной заботой. Снобизмом это назвать, вероятно, нельзя, потому что дело не сводилось к копированию внешнего рисунка.

Главным распорядителем в этом доморощенной феноменологии был противительный союз «но». С его помощью от некоего положительного свойства отсекалась крайняя степень проявления. Например: смел, но не безрассуден, тонко чувствует красоту, но не рафинирован.

Дело также в оттенках. Например, сказать «красивый, интеллигентный, серьезный мужчина» – это одно. Это из другой эпохи. Другое дело – «настоящий мужик». Это взятое из крестьянского лексикона выражение меньше всего означает домовитость или же умение работать. Настоящий мужик физически, конечно, силен, но это далеко не все. Он от своей силы весел и добр, его ум и благородство скрыты под иронической усмешкой, некоторая небрежность и простота в обращении оттеняет духовный аристократизм. Он скорее всего бородач (не до бритья). Голос немного грубоват. Он из тех, кто выплевывает косточки черешни перед дулом наведенного на него пистолета, а оказавшись третьим лишним, выбегает в магазин и не возвращается. Он и вообще не любит долгих проводов и мелодраматических сцен.

Он любит простой разговор, короткую фразу, в которой вдруг повисает слово со значением. Чуть-чуть чудаковат, да, но, пожалуй, лишь от сосредоточенности на главном.

До чего же легко целиться в середину своего возраста и попадать в яблочко. На пятнадцать лет назад яснее видится, чем на час вперед. Все это было не так смешно. Гораздо серьезней и трогательней, уверяю вас. К тому же, это лишь абрис роли, лишь режиссерская установка на нее. Теперь надо приноровить ее к своему масштабу, талантам, привычкам, увлечениям, к своей памяти, к своему бюджету, темпераменту, мечте. Система Станиславского? О, да!.. Изобретите себе трубку, купите капитанский табак, и скоро вы должны уже будете соответствовать и трубке и табаку.

Так, в том радостном состоянии, в котором, повторяю, пребывал он почти все последнее время, шел Андрей по многолюдному Невскому, думая о моменте, когда окажется дома один, примет душ и уляжется на тахту с книжечкой И. Кона «Социология личности», которую ему дал Тараблин до следующего экзамена и которая лежала у него в портфеле.

Тенты у Пассажа душно пахли парусиной. Автоматы с газировкой прокалились до нутра, и к ним никто не подходил; только пожилая узбечка робко протягивала к щелке медную монетку.

Стало душно. На город набегала вторая за сегодняшний день гроза. Не успел он свернуть на Малую Садовую, где тень сохраняла еще сырой запах стен и торговали черешней и квасом, как увидел прозрачную и тут же начинавшую клубиться испарениями стену дождя, которая летела на них с Фонтанки.

Уже первые разрозненные капли взволновали людей и произвели беспорядок в их сонных рядах. Одни стремительно вбегали в первый попавшийся магазин или парадную, другие, остановившись там, где их застигла капля, поспешно раскрывали зонт, и на них с руганью наталкивались те, кто пытался спастись бегством. Очередь за квасом колебательным хвостовым движением переместилась к стене и сразу приобрела стройность. В это время ударил дождь, и запахло теплым мокрым асфальтом, обнаженной штукатуркой, черешней, ржавчиной.

Последней, в бежевых «лодочках», чуть по-мальчишески сутулясь, прикрываясь капроновым мешком и букетиком лиловых гвоздик, перебежала к стене тоненькая белокурая девушка. Андрей поспешно встал с ней рядом.

– Вы последняя за квасом? – спросил он.

– Я, – сказала девушка. Она выставила ладонь под дождь, искоса, как смотрят на летящий самолет, посмотрела на небо и засмеялась: – Сумасшедший день.

И тут он узнал Сашу.

– Саша! – окликнул он.

Она повернулась, опустив сумку и цветы, ее бледные губы были полуоткрыты, она смотрела на него и вместо ответа кивала головой. Наконец, сказала, улыбнувшись:

– Ни за что бы не узнала.

Эта почти ничего не значащая фраза, как бывает, вдруг объяснила ему ту степень наивности и самообольщения, в котором он столько лет пребывал и в которое нередко впадают люди, живущие воображением. Попросту говоря, он понял, что Саша жила и менялась без него все это время и что, если он и оставил ее в том отроческом возрасте, то это совсем не означало, что она в нем осталась. Именно такие простые соображения приходят обычно внезапно и с большим опозданием. Одновременно он понял, что мимолетные воспоминания об этой полужнакомой девочке были, быть может, значительнее и важнее для него, чем он сам до сих пор думал.

Он взглянул невидящими глазами на букетик гвоздик: они оплавилась, превратившись в светло-лиловые угольки, которые, казалось, через секунду звонко посыплются на мостовую. Но тут глаза его снова обрели зрение.

Дождь обрызгивал Сашины голые щиколотки и икры, и она растирала щекочущие капли, потирая ногу о ногу. Он поймал себя на том, что пристально смотрит на Сашины красивые ноги, подошвы которых были спрятаны в кукольные «лодочки», и этот инстинктивный мужской взгляд, который давно уже превратился в некий способ самоутверждения и игры, сейчас впервые поразил его своим сокровенно-откровенным смыслом и показался неприличным. Он незаметно переменил положение и, взглянув на небо, сказал бегло и буднично:

– Это, может быть, надолго.

– Нет, – ответила Саша и прижалась затылком к стене. – Это скоро пройдет.

Фразы, произнесенные им и Сашей, тоже вдруг показались ему полными особого смысла, и то, что он не мог понять его, лишь усиливало впечатление.

Они замолчали, поглядывая друг на друга и усмехаясь, как усмеваются незнакомые и симпатичные друг другу молодые люди, делая в танце первые шаги. «Он ли это, – спрашивала себя Саша, – из-за которого я столько плакала, о котором мечтала и которому хотела рассказать всю свою жизнь?» И с радостным волнением сознавала, что ничего не может ответить себе на этот вопрос. Это был он и не он, как и сама она была все той же девочкой из барака, раздувавшей в себе свою несчастную любовь к незнакомому мальчику, и в то же время совсем другой – узнавшей, например, силу своей красоты.

По неуловимым признакам Саша поняла, что и Андрей попал в ее силовое поле. Перемена ролей забавляла. Но в то же время та влюбленная несчастная девочка в ней мешала Саше почувствовать себя хозяйкой положения, и колебания между тем и этим, прошлым и настоящим, узнаванием и не узнаванием и было причиной того особого волнения, которое она в себе ощущала.

Дождь толстыми подрагивающими струями стекал с крыши. Саша снова высунула руку, как бы пытаясь раздвинуть их.

– Как китайская соломка, – сказала она.

– Сегодня уже вторая гроза, – зачем-то сообщил Андрей.

– Да, сумасшедший день, – повторила Саша.

– Шедший, шедший и дошедший... – сказал он.

«Ну что, попалась?» – почему-то весело подумала Саша. Ей вдруг показалось, что еще минута – и она окончательно устанет быть независимой и беспечной и как последняя дурочка прислонится щекой к его груди.

Гроза между тем кончилась. Тучи разорвались над ними неровно, как дряхлая бумага, и поодиночке унеслись в сторону Петропавловки.

Когда они снова встали в очередь, он присвистнул:

– Ого, какой хвост! – И неожиданно для себя предложил: – Может, не будем стоять?

На это неожиданное «мы», которое подразумевали его слова, Саша чуть заметно улыбнулась, но сейчас ее улыбка только придала Андрею смелости.

– Пойдем ко мне, – сказал он. – Матушка на даче у подруги...

– Классическая ситуация, – засмеялась Сашенька чуть не плача. – И это не опасно?

– Опасно, – сказал он. – Очень.

В метро они снова замолчали. Каждый подумал о том, что рядом с ним, в сущности, совершенно незнакомый человек, и осознал странность того, что они вместе. «Откуда у нее гвоздики? – неприязненно подумал тогда Андрей. – Что за самовлюбленность – таскаться по улицам с цветами».

А Саша в это же время почувствовала острое недовольство собой. Как бы ни было мало или велико то место, которое он занимал в ее воспоминаниях, но появление в ее жизни кого угодно больше бы ужилось с мыслью о нем, чем реальная встреча с ним. Саша чувствовала, что в его присутствии она потеряла верный тон и то и дело ловила себя на совершенно несвойственных ей мыслях. То ей казалось, что он обратил внимание на ее туфли на гвоздиках, которые уже вышли из моды, то представляла, как расскажет ему, что завалилась при поступлении на французское и работает лаборанткой в школе, и он сочтет ее неудачницей.

Давно, давно Саша не ловила себя на подобном малодушии. Со школьных, пожалуй, лет. И вот теперь эти мысли и то, что она покорно поехала к нему, означали, что она начинала терять самостоятельность и легкость, и Саша принялась придумывать, с какими следующими словами обратится к нему и что сделает.

Так, например, ей захотелось, придя в квартиру, остаться босиком, и она задумала, что непременно так и поступит. И действительно, сделав это, Саша и все остальное стала делать заметно увереннее и почувствовала себя так же почти естественно и легко, как и обыкновенно.

И вот она сидит теперь в его квартире, подперев одной рукой щеку, а другой играя с толстым старым котом, и ей хорошо и спокойно.

– Прости, я не спросил – ты, может быть, хочешь есть? – сказал он. – Яичницу с колбасой?

– О нет, я, знаешь ли, из общества сыроедов, – ответила Сашенька. – Если можно – вот эти листья салата.

– И все?

– Ну и еще сметана. Если есть.

Они быстро приготовили и так же быстро уничтожили все, что было из еды в квартире, и медленно потягивали «ложечку» кофе. По радио уже отговорили последние известия и поставили какую-то знакомую музыку.

– Слушай, а мы случайно не в Париже? – спросила Сашенька.

– А что..., – ответил он.

Саша покраснелась, волосы, стянутые в конский хвост, растрепались и спадали на щеки, она поправляла их и сонным домашним взглядом посматривала на него.

– Ну, рассказывай, – сказала она, и бледные губы ее чуть дрогнули в незаконченной улыбке.

Он вспомнил, как рекомендовался герой одной пьесы и сказал:

– Совершенно отрицательный тип: не сидел, не выезжал, не имею, не владею, не был...

– Да, да, – закивала Саша, – не имею, не владею, не был.

Он по инерции продолжал:

– Не пью, люблю свою жену...

– Ты женат? – с заметной поспешностью спросила Саша.

– Да нет, – сказал он, с удовольствием отметив Сашино смущение. – Это у Евтушенко, в «Нежности», не помнишь разве: «Не пью, люблю свою жену (Свою, я это акцентирую). Я так...»

– Помню. Я помню. Просто сразу не сообразила, – прервала его Саша голосом, горловым от смущения.

– То-то же, – зачем-то сказал он.

– Ой, ну вы меня купили, сеньор, со своим Евтушенко, – сказала Саша, снова засмеявшись верхним неестественным смехом и вытирая слезы. – Прямо стыдно.

В этом смехе и словах ему почудилось что-то вульгарное и в то же время просто-душно-привлекательное, и он сам невольно засмеялся.

– Ну а ты? – спросил он сквозь смех.

– Что я?

– У тебя-то что?

– Я тоже не пью, – вызывая новый приступ нервного смеха, сказала Саша. – Ой, ну хватит. А то живот заболит.

Прикрывая глаза рукой и вздрагивая от проходящего смеха, они скоро успокоились.

– А сыроедение?... – спросил он.

– А, – махнула рукой Саша. – Баловство. От нечего делать. Есть у меня знакомая семья – фанатики. Сагитировали, решила попробовать.

Говоря это, Саша принялась перебирать в бутылке гвоздики, с удовольствием после смеха погружаясь в безотчетно грустное состояние.

– Это со свидания? – спросил он.

Саша снова как будто согласно и задумчиво покачала головой. Потом старательно, как представляют образец ответа на иностранном языке, сказала:

– Цветы, сударь, я купила себе сама. На Кузнечном.

Теперь настала его очередь смутиться.

Однако все эти непопадания и вызванные ими смущенности и смех словно бы подтолкнули их друг к другу, и они оба это почувствовали. Саша занялась котом, который подпрыгивал к ней с пола и хищно-ласково разевал пасть.

– У-у, котяра, – напевала она, подсовывая ему палец и резко убирая руку. – Как его?

– Бася, – сказал он.

Глядя, как Саша по-мальчишески озорно играет с котом, повторяя его хищные гримасы, он подумал с нежностью: «Чистый Гаврош!» И снова ему захотелось спросить Сашу о чем-нибудь из прошлого, и он опять малодушно от этого отказался.

– Не пью, не владею, не имею, – повторяла Саша, смеясь. – Ты, Бася, совершенно отрицательный тип. Ого! – Кот ухватил-таки ее за палец. – Мы голодные?

На пальце выступила кровь.

– Я йод принесу, – сказал он, радуясь возникшей необходимости действовать.

– Не надо, – остановила его Саша. Она высосала кровь, потом прикусила палец и еще раз высосала, как будто продолжала играть теперь с пальцем.

– Иди! – сказала она коту притворно строго. – Зачем вы держите этого людоеда?

Как только отлученный кот покинул кухню, к обоим вернулась неловкость. «Сейчас мы должны заговорить уже по-новому, – думала Саша. – Без кокетства, без этого общего тона. Сейчас начнется самое главное». – «Вот черт, – думал он в то же самое время. – Нам, оказывается, кот нужен. Без кота мы никуда!»

– Хочешь, посмотри пока в комнате книги, – предложил он. – А я здесь все быстро приберу.

– Конечно, – сказала Саша, едва скрыв разочарование. Выход, предложенный им, поражал убийственной банальностью. Она снова призвала на помощь скрывающегося где-то кота: – Пойдем, Бася, хозяин нас высылает в библиотеку.

– Ссылка, надеюсь, будет приятной, – сказал он, с раздражением улавливая в своем голосе фальшивый звук.

– Хотя и приятная, а все равно ссылка, – ответила Саша уже из коридора.

Она внезапно ощутила в себе прилив веселой злости, ей хотелось дразнить уже не кота, а его хозяина. Ей хотелось посчитаться с этим ангелоподобным существом за свои детские обиды. Что ж с того, что он ни в чем не виноват? Тем хуже для него.

Однако эта веселая злость блеснула в ней, как возможность, скорее веселая, чем злая. Ей вдруг самой нетерпеливо захотелось посмотреть его комнату.

Комната, в которую она вошла, была похожа на миллионы комнат, в которые она могла бы войти. На всем были видны следы того же, что и у всех, вырастания из стиля 50-х годов.

Новая мебель была сплошь полированной, прямоугольной, экономичной. Создатели ее, следуя духу времени, стремились делать универсальные модели. Вместо оттоманки – кресло-кровать или диван-кровать, гибрид книжного шкафа и стола – секретер.

Секретер стоял справа около окна. Рядом, страдающий одышкой, примостился пузатый комод. Видно было, что скоро придет и его черед идти на свалку со шкафами из красного дерева и старыми буфетами, которые с наступлением стиля «ретро» снова стремительно возрастут в цене, но об этом пока никто не знает. Двойное заграждение окна из штор и тюля говорило о том, что мать много сил отдавала созданию уюта. Но Саша сразу направилась к секретеру – это была его родина, его полянка, по которой ей не терпелось побродить.

Здесь был тот замечательный беспорядок, в который ей тут же захотелось погрузить свои пальцы, чтобы сделать его еще беспорядочнее, только на свой лад. Книги лежали так и сяк, листки с черновиками текста пестрели графически мемориально, как будто их разложили музейные работники. Между стекол было воткнуто гусиное (пушкинское) перо. С правого боку кнопкой в белой пластмассовой одежке был приколот эстамп «Лист вяза», на котором до последней черточки отпечатались сухие прожилки; с левого – маленькая гравюра «Старая

мельница». За стеклом белел календарь. На нем крестиками отмечался, вероятно, ход подготовки к экзаменам, а рядом на тетрадном листке фломастером было выведено:

Я злу отдам усталую от мук душу,
Коль не пошлешь ты мне ячменных круп меру.
Молю не медлить. Я из круп сварю кашу.
Одно спасенье от несчастья мне: каша!

Гиппонакт

Эта античная строфа неизвестного ей Гиппонакта заставила Сашу тихонько засмеяться. Вопль о помощи, переписанный, быть может, в период экзаменационной сессии, еще больше расположил ее к хозяину секретера. Путешествие продолжалось.

Под плексигласом, на откинутой крышке секретера, ее внимание привлекла программка студенческой конференции, где среди прочих стояло и его имя. Слово «оксюморон» было незнакомым, и Саша повторила его про себя, чтобы запомнить. Здесь же хранилось множество фотографий. Некоторых из тех, кто был на них снят, Саша знала. Молодой Есенин, Цветаева. Газетная фотография Вана Клиберна. Паустовский у заросшей цветами веранды. Андрей Вознесенский на эстраде с вдохновенно поднятым кулаком. Между сервантом и окном на стене – большая фотография улыбающегося Хемингуэя, с аккуратной седой бородой, в крупновязаном свитере, который с его легкой руки вошел в моду и назывался хемингуэевским.

Однако другие лица были Саше незнакомы.

Собственно, реликвии секретера больше говорили об увлечениях времени, но Саше именно это и нравилось. Сама она была только понятливой дилетанткой в этом мире литературы, а здесь, казалось ей, было оно само. Например, Саша совершенно не знала, где другие добывают столь редкие фотографии, и человек, обладающий ими, уже казался ей посланцем другой жизни.

Его первенство Саша признала молчаливо и сразу. Ей показалось, что именно у таких секретеров рождается то серьезное, что потом до остальных (до нее) долетает искаженным звуком моды. Во всем взгляд ее улавливал черты, которые чем больше напоминали общие для всего их поколения, тем больше казались Саше родными и не похожими ни на кого.

– Ну как? – спросил он, входя в комнату.

– Это кто? – Саша указала на одну из фотографий.

– Андрей Платонов, – сказал он. – Ты не читала?

– А это?

– Юрий Тынянов.

– «Кюхля». Я читала. Это?

– Макс Волошин.

– Знакомый?

– Нет, что ты. Художник. Поэт. Критик. Вообще личность серьезная.

Он стал показывать ей книги. Доставал с полки, вытаскивал из стопки на полу, скороговоркой упоминал авторов, читал наизусть стихи. Ему казалось, что все, что он сейчас говорит, он говорит именно ей, Саше, хотя в действительности его общение с книгами обладало свойством самовоспламеняемости, и он мог бы с таким же успехом говорить сейчас то же самое кому угодно.

Саша уловила происшедшее в нем преобразование, и оно невольно передалось ей. Она не успевала следить за ходом мысли, но видела только, как, словно у ребенка, улыбка довольства вползала на его лицо, и он, как ребенок, прогонял ее, напряжив губы и нервно стягивая брови к переносице.

Она поняла вдруг, чего так хотелось ей тогда, девчонкой, и чего так остро захотелось теперь – ей хотелось пожалеть его. Да, именно сейчас, когда она восторгалась им и чувствовала его силу, ей неизвестно почему хотелось его жалеть. А он продолжал упиваться потоком своей речи, не подозревая, что не в тех, о ком он говорил как о своих хороших знакомых и к которым Саша даже не испытывала сейчас ревности, а в ней, в ее жалости источник его силы и, быть может, спасения.

Андрею, видимо, передалось как-то Сашино состояние. Он узнал этот ее взгляд. Нет, он ошибался, полагая, что теперь этот взгляд будет по силам ему, осекся, сказав что-то вроде: «Ну, в общем вот так...» – и отошел к окну.

Окно выходило в яблоневый сад, по их северным темпам только еще зацветавший. Солнце пропитало его розовым теплом, но за железной дорогой в районе парка Победы уже собиралась новая гроза. «День гроз и зноя, гроз и зноя», – произнес он про себя.

– Мне кажется, мы с вами где-то встречались, – сказал вдруг Андрей и почувствовал необыкновенное волнение, будто признался в любви. Страшно было повернуться от окна и взглянуть на Сашу.

Он повернулся.

Саша сидела, обхватив колени, и смотрела перед собой. Он присел на корточки, пытаясь заглянуть ей в глаза.

– Да? – спросил он.

– Нет, – сказала Саша, коротко засмеявшись своим «верхним» смехом. – Нет, вы меня с кем-то путаете. – В глазах ее выступили слезы.

– Саша, – позвал Андрей и взял ее за руки. – Эй!

– Нет, нет, – замотала головой Саша. – Говорю же!.. – Она смахнула пальцами слезы и улыбнулась. Ее большие веки подрагивали. Андрей поцеловал Сашины руки и торопливо заходил по комнате, как будто разминая тело после сна. Потом остановился и спросил намеренно бодро:

– Еще ложечку кофе?

– И покрепче, – ответила Саша.

После третьей за сегодняшний день грозы зелень пахла по-банному душно. В траве шевелились прибитые дождем бабочки. По лужам мальчишки гнали крючками кольца. Схватив Сашу за плечи, Андрей оттащил ее подальше от лужи, и водяной веер покорно лег у ее ног. Уже совсем не грозные облака пенились на горизонте и оседали, превращаясь в янтарный закат. Казалось, там шло большое пиршество. А может быть, боги заметили их и подняли кубок за их счастье.

Когда они порядочно отошли от его дома, Саша, усмехнувшись, сказала:

– Что-то сегодня день какой – снова есть хочется.

– Давай зайдем в кафе, – сказал он. – Тебе чего хочется?

– Мяса! – сказала, как отрубилась, Сашенька.

– Сырого?

– О, нет! – засмеялась она. – Сырое ест только ваш барс.

Проводив Сашу до дома, он вышел на улицу, вычислил ее окно на первом этаже и увидел, как Саша включила свет и задернула шторы. То, что она не выглянула в окно, вызвало в нем досаду – его уже не было с ней. Ему захотелось вернуться и навсегда забрать Сашу, но он только еще раз взглянул на слабо освещенное в белом сумраке окно и медленно пошел домой.

Андрей перебирал в памяти события дня, и во всем, что сегодня произошло, виделся ему прекрасный умысел и таинственное обещание чего-то необыкновенного.

Он привык верить своим предчувствиям. Ему казалось, что если относиться к жизни с серьезно, то можно подстеречь судьбу, увидеть, как природа и обстоятельства плетут нить твоей жизни. И вот ты уже вовлечен в игру и мчишься неизвестно куда, и главное, что от этого

влечения к тому, что ждет тебя за поворотом, уже никуда не деться, – в этом-то и состоит главная упоительность всего. Наконец приходит момент, когда вступает в силу голая неизбежность, происходит внезапное отключение воли, и человеком овладевает пугающее и прекрасное чувство неумолимости жизни.

Этот миг, когда уже невозможно уклониться, быть может, и наступил теперь.

Тут же он попытался осадить себя и дал слово ироничному Тараблину. «Романтический предрассудок – атавизм – милое наследие золотого, что уж говорить, века русской литературы!..» – «Предрассудок, – отвечал он Тараблину, – разумеется. Но ведь факт!»

Андрей вдруг подумал, что они в СНО, анатомируя текст, рассуждая о композиции, детали и прочее и прочее, слишком мало говорят да и думают о том, что как раз и есть главное: счастье, смерть, любовь... Выходит так, будто все, над чем бились те, кого холодно называют классиками, теперь уже разрешилось и давно выяснено, и главный интерес представляет не «что», а «как». Играют с классиками в «классики». Всякий боится всерьез подойти к главному, всякому кажется, что он ростом не вышел. Тут надобна личная смелость. Да, личная!..

Таким представлялось ему сейчас все это простым и ясным, и, казалось, уж оттого, что он это понял, он в миг перерос на голову своих коллег и вступил на тропинку самостоятельной мысли.

«Вот, например, хоть я сейчас, – думал Андрей. – Счастлив? Пожалуй. С другой стороны – что такое счастье? Прыгающий в груди щенок? И может быть, собачья радость – имя этому восторгу. Что я знаю про счастье? Что все про него знают?»

Но, что же тогда делать, снова подумал он. Как сказано в сказке: «Пойди туда – не знаю куда, принеси то – не знаю что».

Когда он впервые прочитал эту сказку, его поразило, что и сам царь не знает ведь, куда нужно идти и что добыть. А в то же время непреклонность его воли говорила, что он как бы и знает то, чего не знает, и нужно Ивану Царевичу идти не просто, куда глаза глядят, а именно в то заповедное место, о котором никто не имеет представления.

Вот что оно такое – счастье.

А почему Мефистофель отнял у Фауста жизнь именно тогда, когда тот захотел остановить мгновение? Да, если счастье – это блаженство, то погружение в него всегда влечет за собой гибель. Однако вот же я иду и – никакой потусторонней силы за плечами. И завтра снова, если захочу, могу увидеть Сашу. И вот же – мозоль на ноге чувствую, и правый ботинок промок, и хочется спать... Какое уж тут блаженство.

А может быть, счастье – это чуть-чуть, малая малость, тополиная пушинка, которая нарушает мертвое равновесие весов? Стоит ли о ней думать, когда она есть, а когда ее нет – и тем более.

Но, что же это я рассуждаю? Или мне чего-то еще недостает?

Ему стало досадно, что он столько рассуждал о каком-то счастье вместо того, чтобы думать о Саше. «Сколько времени потерял даром, дурак», – сказал он вслух и принялся думать о Саше. И все, что он ни вспоминал о ней, все ему нравилось. Он находил ее и остроумной, и деликатной, и умной, и красивой. «Зачем вы держите этого людоеда?» Он рассмеялся, но тут же сам себе зажал рот и оглянулся – не напугал ли кого из прохожих.

«Нет, друзья, это судьба, что мы с ней встретились, – одержимо бормотал он. – Это, уж извините, не ваших рук дело. Не обижайтесь, но вы бы так не сумели. Тут, видите ли, замысел просматривается, который нам с вами не понять. Пенячь. Шпынячь... Судьба, господи, судьба, а она, как известно... Да-с. Два-с. Ай, хорошо, ай, хорошо», – напевал он, подпрыгивая и поднимая колени.

И вдруг ему вспомнилось, как совсем еще несмышленишками встретились они с Сашей у куста и она просила его отдать бабочку, и вспомнилась бабочка, нервно подрагивающая сдвоенным крылом, и то чувство стыда, которое он испытал, увидев Сашу в бане. Он впервые

вспомнил об этом, и полузабытые эпизоды выстроились сейчас в ряд, и ряд этот поразил его своим пугающе ясным смыслом. Как же он не вспомнил об этом сразу. Надо завтра же, завтра же рассказать об этом Саше.

Но он тут же понял, что они далеко еще не перешли на тот язык, которому было бы это подвластно, слишком много условностей стояло между ними, и то, что он чувствовал к Саше, ему еще необходимо до времени таить. Но эта затяжка была принята им с юмором и ничуть не поколебала оптимизма.

Дома он сразу прошел на кухню и, не зажигая света, долго смотрел на букет оставленных Сашей гвоздик. Дотронулся до стеблей, будто тронул Сашины пальцы. Вдруг ему вообразилось, что что-то помешает им встретиться с Сашей. Втайне он сознавал, что это вздор и что он зря мучит себя, но ему хотелось себя мучить.

Едва положив голову на подушку, он явственно услышал, что в подушке звенит гроздь маленьких колокольчиков. Поднял голову – звон исчез. Лег – звенят. Он потряс подушкой, покачал тахту, вынес на кухню вазу с вставленными в нее ветками сухого проса. Но как только снова приложил голову к подушке, тут же не ухом даже, а виском снова услышал колокольчики. Андрей успел еще подумать, что это слышится, наверное, струение крови по сосудам, успел с улыбкой усомниться и в этом, и в таком зыбком равновесии явственности и догадки исчез из мира.

«ТАРАБЛИН, ДРУГ ТЫ МОЙ ЛЮБЕЗНЫЙ! Как же забыл ты сдать мои книги в библиотеку? Мне из-за этого хотели придержать стипендию – едва упросил. Не друг ты после этого, а свинья. Я свинья по гороскопу, а это совсем другое дело. Мы – гороскопические (гороскопские?) свиньи – как раз отличаемся большой верностью в дружбе. Потому и пишу тебе, видимо, как обещал, хотя надо бы через бюро добрых услуг послать тебе дубинку и попросить, чтобы ею отколотили тебя.

Что тебе сказать – я в Тарусе, в этой подмосковной Мекке. И не один. А с кем, ты уж, верно, догадываешься. Мы с Сашей сняли веранду у милой женщины Ольги Осиповны.

Не буду прибавлять к классическим описаниям свой рассказ о Тарусе. Скажу только – здесь лучше, чем можно было ожидать, прочитав того же Паустовского. Кстати, он, говорят, в Ялте и сильно болен, но его дом на Пролетарской показали нам мальчишки. Здесь все его знают и любят, фамилию произносят на свой манер – Пустовский.

Дом загорожен мрачным сплошным красным забором, и к нему не подступиться. Это немного огорчило нас. Гения красит демократизм и открытость. Хотя, думаю я, не писатели – слава воздвигает заборы, это ее и только ее забота. Будем же, Тараблин, наслаждаться пока своим бесславием. Кто знает, что ждет нас впереди, может быть, тоже забор – то-то скучно будет.

Были на могиле Борисова-Мусатова со „Спящим мальчиком“ Матвеева. Она заросла шиповником. Ездили в Поленово – там замечательно.

Что еще? Хожу пить пиво и слушать разговоры в шалмане на берегу Оки. Пиво, сказать правду, припахивает водой, но зато пейзаж удивительный. И люди и разговоры... Не могу сказать, чтобы все это, „превозмогая обожанье, я наблюдал боготворя“. Нет, этой умильности во мне нет ни на грош, я и в Б. Л. ее не люблю. Но скажи-ка, когда мы с тобой впервые подумали обо всех этих людях „они“ вместо „мы“? Дело не в том – лучше-хуже... Но разрыв этот вреден и нам и им (вот опять!). А главное, „они“ – это ведь и родители наши.

Таруса расположена на высоком берегу, и гулять по ней – удовольствие. Лодки на Оке с высоты кажутся поплавками, а невидимые лески от них уходят в небо.

Я подумал: приедь я сюда лет на десять раньше, один из этих рыбаков мог оказаться Заболоцким. Помнишь ты у Заболоцкого:

И я, живой, скитался над полями,
Входил без страха в лес,
И мысли мертвецов прозрачными столбами
Вокруг меня вставали до небес.

И дальше там что-то о „птицах Хлебникова“ и о том, что в камне проступал „лик Сковороды“.

Если и хочется чего мне в это лето (потому что полное отсутствие желаний и мыслей о том, что находится за пределами нашей тарусской жизни, – вот особенность моего состояния), так это...

Впрочем, я, пожалуй, возвышенно завираюсь. А сказать серьезно – боюсь умереть, больше ничего. Умереть сейчас было бы нелепостью и свинством (куда большим, чем твое). А потому этого и не будет.

Опять завираюсь, потому что философствовать совсем не хочется. А мысль какая-то зреет внутри, помудрее, может быть, чем у философов. Только это и не мысль, вот в чем дело, и мне ее тебе никогда не передать.

Ты уж, я чувствую, потираешь руки и из простодушия моих невежественных разглагольствований вывел то, что только и можешь вывести: влюблен.

Да, друг мой Тараблин, влюблен. Я спокойно произношу это слово, потому что оно ничего не в силах объяснить и потому совсем не затрагивает ту область моей жизни, которая не твоего едкого ума дело. „Пища, полезная одному, не годится другому“. Это из старинной книжицы, которой мы развлекаемся вечерами, если не играем с хозяевами в карты. Называется она „Карманная книга французско-немецко-русского разговора по Эдуарду Курзье“, а вышла в Санкт-Петербурге на следующий год после смерти Пушкина. Саша готовится к поступлению на французское отделение к нам в университет, обложила учебниками. А Курзье, конечно, больше для развлечения.

Ну, прощай, Тараблин. Как твоя экспедиция? Следующий год, может быть, поедем в Архангельск вместе. А уж встретимся по осени, и тут бы я с тобой „побился кое о чем“ (Курзье!).

Пока живи. Андрей.

P.S. Конверт со штемпелем тарусским сохрани. Ты, я знаю, без сантиментов, ну так мне подарить».

ПОЧЕМУ С ТАКОЙ ЖАДНОСТЬЮ ЛЮДИ ЧИТАЮТ ВСЕ, ЧТО ПИШЕТСЯ О ЛЮБВИ? Ведь никто еще не сумел воспользоваться простосердечием чужих исповедей. Ни один не встретил собственное отражение в зеркале чужой любви. Может быть, даже так, что, занимая ум какой-нибудь историей, мы только и ждем момента, чтобы воскликнуть: это не про меня. И чем больше узнаем себя в другом, тем отраднее для нас пусть одно, но решительное несоответствие.

Тут угадывается подобие закономерности. Подозреваю, что никто из нас не хочет ясности в любви. Быть может, потому тайне этой, чтобы остаться тайной, не требуются обеты молчания. Все только и делают, что говорят о любви, но никто, как ни старается, не может проговориться.

Однако так же, как упорно мы отказываемся что-либо понимать в этой прекраснейшей из катастроф, так же по-птичьи улавливаем малейшие ее признаки в себе самих или в ком-нибудь рядом. Если возникает между двумя любовь, то ощущают это каким-то образом все вокруг. Такое силовое поле, что ли, возникает, которое, пусть краем, но задевает каждого.

САША И АНДРЕЙ ВИДЕЛИ, что многие из тех, с кем им приходилось сказать хоть слово, менялись на глазах: как будто людям доставляло удовольствие отвечать на их вопросы,

уступать, шутить, советовать, помогать, и каждый с удивлением обнаруживал, что он остроумен, и каждому хотелось подольше задержаться возле них, чтобы продлить это состояние. Они догадывались, что причиной подобных перемен были они сами, и быстро и беззаботно к этому к этому привыкли.

Веранда, в которой они жили, широкой своей стороной выходила в хозяйские вишни, а боковой – на тихую, заросшую травой улочку. По стеклам ее спускались листья дикого винограда, почти на метр от земли ошипанные козой.

Вставали они поздно, просыпая обычно утренний рынок. Мылись в саду. Саша вылиwała из умывальника нагретую солнцем воду, и Андрей приносил из колодца свежей. Иногда сразу шли на речку. Особенно хорошо было купаться после ночного дождя. Раздевшись, они проходили к реке под кустами ольшаника, и листья морозно оглаживали их спины и роняли на теплую кожу электрические капли. Смеясь и вздрагивая всем телом, Саша и Андрей словно только теперь пробуждались. Ступая в витые русла ночных ручьев, они ощущали голыми подошвами теплую корочку песка, проламывая которую пятка погружалась во влажный холод.

Саша первая бросалась в воду и устремлялась наперерез течению к другому берегу. Плавала она прекрасно. Он же влезал в воду боязливо, осваивался, нырял, яростно боролся с течением, намечая себе цель в виде какого-нибудь поваленного дерева или мыса, потом отдыхал, раскинув руки, но на другой берег не плавал. Саша махала ему с далекого пригорка, а он вдруг начинал волноваться, осознав пространство реки как разлуку, и смотрел на Сашу, вызывая ее молчаливым криком, и, как будто почувствовав его зов, Саша ловко сбегала в своем синем купальнике к воде и плыла к нему.

Иногда после завтрака они переправлялись паромом на другой берег и там загорали или просто сидели у парома. А то, исходив пешком всю Тарусу, садились отдыхать в сквере у гостиницы.

Над головами отцветали поржавевшие уже кое-где гроздья мелкой сирени. За Таруской в карьерах ухали взрывы, поднимая в небо черные вороны тучи.

Им было легко молчать друг с другом. Казалось, что каждый видел и чувствовал то же и так же, что и как видел и чувствовал другой. И оба думали, что дело вовсе не в их внезапном согласии, а в том, что именно теперь они видят мир таким, каков он есть на самом деле. Если Андрей, например, показывая солнечные блики на реке, говорил: «Смотри, как будто мальчик с золотыми пятками бежит», то Саше казалось, что Андрей прямо-таки сорвал у нее с языка эту самую фразу.

Бывало, посреди разговора кто-нибудь из них замолкал, и они смотрели друг на друга, словно птицы, попавшие во встречный поток ветра. «Ну же», – говорили ему Сашины глаза. «Да?» – переспрашивал он. «Да, да!..» – отчаянно говорила Саша. Как бежали они к своей веранде, резвые и бесстыдные.

Солнце копошилось в листьях винограда, безуспешно пытаясь отыскать зрелую ягоду. Хозяйская Светка проверяла, приложив ухо, звонок новенького велосипеда. Стекла веранды напитывались предвечерней лиловостью.

Им обоим казалось, что они совершают сейчас что-то такое же обычное, как цвета, звуки и запахи этого дня, но только самое лучшее. Все вокруг пропадало на мгновение и снова плавно входило в сознание, потом опять для самого главного, самого лучшего им нужно было пропасть, чтобы появиться вновь... Распущенные волосы Саши пахли речкой, голова была откинута назад и набок, а глаза спали...

– ...А из чего огонь? – спрашивала Саша, вызывая его из полудремы.

– Из апельсина, – отвечал он. – Из охры. Из поцелуя.

– Андрюша, – говорила она, – а кто будет после людей?

«Кто-то уже об этом спрашивал, вот так же, – думал он. – Но вот каков был ответ?»

– Не помню, – отвечал он. – Что-то не припомню.

Дни шли однообразно счастливые, словно давно кем-то загаданные, тем, видимо, кто распорядительно менял дождь на зной, вливал молодую кровь в поспевающие вишни и задабривал их обоих причудливыми великолепными снами.

Чуть ли не каждый день Саша что-нибудь изменяла в своей одежде, и эти внезапные тесемочки, ремни и кофты волновали его, как метаморфозы знакомого пейзажа, как неожиданный поворот в разговоре. Он, однако, считал нужным отмечать это сдержанно и с долей иронии.

– Серая кофточка на обед тебе очень удалась, – говорил он, например.

– Не обольщайтесь, сударь, – отвечала Сашенька. – Это я не для вас, а для ветра.

Никогда еще не казалось им таким легким и обычным делом проникновение в чужую жизнь. Случалось, из одного взгляда или слова в голове рождались целые повести.

– Он не был там, в своей деревне под Киевом, двадцать лет. С тех пор, как продал дом. У него же в войну всех родственников немцы убили. Там, конечно, уже большой поселок, ничего нельзя узнать. И вот, представляешь, в первом же доме, едва он открыл калитку, его узнали: «Надюша!». А он уже и забыл, что его так звали в детстве.

Это из разговора двух женщин, которые в халатах прогуливались с ними в одном направлении. Они уже обогнали этих женщин и никогда, видимо, не узнают ни начала, ни окончания разговора.

– Как это, наверное, трудно вот так возвращаться, – сказал он. – К доминошному столику, воздвигнутому, быть может, над безымянной могилой.

– Не говори так, – сказала Саша.

– Это, знаешь, это все равно что проснуться однажды в будущем, – продолжал Андрей. – Лег так через пятьсот. Помнишь, об этом как-то много писали. Будто в жидком гелии, что ли, можно заморозить человека.

– Глупость, – отозвалась Саша. – Похоронить себя в будущее. – И, содрогнувшись то ли от холода, то ли от этой мысли, добавила: – Нам это не нужно.

– Главное, я подумал, если даже предоставят тебе возможность кого-нибудь воскресить, то ведь сам же и откажешься.

– Фу, как ты ужасно говоришь, – сказала Саша и жалобно прижалась к нему.

– Ну все, все – что ты? – спохватился он и поцеловал ее.

Они шли некоторое время молча. Еще было светло, но уже чуть резче, чем днем, пахла трава, и в домах стали зажигать свет.

– Повернем? – предложил Андрей.

Саша отрицательно покачала головой.

– Ну... О чем молчишь? – позвал он ласково.

Такие вопросы у них были в ходу.

– Нагнал тоску, а теперь спрашивает, – сказала Саша.

– Смотри, белая кошка дорогу перебежала, – показал Андрей.

– Это бы еще к чему? – засмеялась Сашенька.

– К дождю, Марья Васильевна, – зачем-то заокал он. – Определенно вам говорю.

Они повернули к дому. Облака, влажные и рыхлые, ярко светились на горизонте. Хотелось не домой, хотелось из дома – в тамбур поезда, в тарантас, на крыло самолета – лишь бы движение, лишь бы путь...

– Сейчас бы на юг, – сказала Саша.

– В Мелитополь, в Симферополь, в Севастополь...

– Тополиные названия...

«Как хорошо, – почему-то подумал Андрей. – Нет, это не может кончиться просто жизнью. Нет-нет, нас ждет что-то лучше жизни».

Середину пути отмечала куча угля, уже истощившаяся, разобранный за годы ветром и людьми. Сквозь нее даже начала прорастать пучками трава и чахлые цветочки.

– А вот я вас, вот я вас, – услышали они еще издали. Девочка лет семи с ядовитым пушистым букетом крапивы, стебли которого она предусмотрительно завернула в газету, бегала за парнем и девушкой. Те легко убежали от нее, пользуясь случаем нежно столкнуться друг с другом, жажда этих как бы ненарочных объятий и прикосновений.

– Ох, Маришка!.. – кричала девушка, вздергивая голыми ногами, а парень держал ее за талию, придерживая легко и изгибисто вырывающееся ее тело перед надвижением неумолимого ядовитого букета и говорил:

– Ату ее, Маришка... – Но вдруг в последний момент ласково и сильно переносил девушку в сторону и убежал сам.

Девочка всегда запаздывала с решительным ударом. Может быть, тоже играла в поддавки.

– Ой, я уже не могу, – закричала девушка. Парень наклонился к ее уху, и вдруг они побежали в разные стороны. Маленькая агрессия с кошачьей проворностью побежала сначала за парнем. Однако он ножницами перемахнул через низкий забор и скрылся в кустах. Еще не расставшись с весельем, девочка повернулась, но второй преследуемой и след простыл.

– Хотела прогнать и прогнала – вот дуреха, – сказал Андрей.

– Это они дураки, – сказала Саша.

Не выпуская из рук букета, девочка зашлась в плаче. Ее крысиное личико было неприятно. Белесые брови покраснели. Рот в плаче открылся безобразно, как в зевоте или на непомерно большое яблоко. Андрею хотелось отвернуться.

– Ну что ты, глупенькая, – сказала Саша, трогая девочку за плечо...

– Они – (всхлип) – убежали...

– Ты же сама хотела их прогнать, правда?

– Ну и что же... – со страшным ревом послышалось в ответ.

– Хочешь, погоняй нас, – предложила Саша.

Не успели они опомниться, как девочка моментальным движением ударила Сашу крапивой по ногам. Потом еще и еще раз. Била она со злостью, тут уже не могло быть и речи об игре.

Саша не тронулась с места. Она на мгновение обернулась к Андрею, как бы прося у него защиты и объяснения, но тут же снова со страданием в глазах посмотрела на девочку.

Нет, ноги ее почти не чувствовали боли. И не коварная беспричинная злость девочки вызывала в ней страдание, но стоящая, быть может, за той злостью беда. Саша смотрела на маленькую обидчицу, на ее испуганное и одновременно торжествующее лицо и чувствовала, что не может ее любить. Она попыталась сделать над собой усилие и улыбнуться. Но и это ей не удалось.

Саша была поражена этой открывшейся ей вдруг неспособностью любить и быть доброй. Словно ее обокрали, словно она давно уже жила с этой пропажей и не подозревала о ней, и поэтому только, то есть по недоразумению и глупости, могла быть счастливой и уверенной в своем счастье. Невозможность, неправильность ее счастья представились ей сейчас так ясно, что она не могла вымолвить ни слова.

Вспомнив, наконец, о грядущем возмездии, девочка показала язык и убежала.

Они молча пошли в дом.

Андрей старался не думать о случившемся. Он чувствовал сейчас острое недовольство оттого, что почти месяц провел в безделье, и удивлялся, как, ничего не делая, мог все это время быть доволен собой и думать, что живет полной жизнью. Испытывал он досаду и от Саши – зачем она непременно хотела быть доброй? Даже хорошо, что ее порыв наткнулся на букет крапивы.

Впервые за эти дни молчание Саши тяготило Андрея.

– Ну, вот и подлечились от ревматизма, – попытался он пошутить и увидел, что Саша плачет.

Не зажигая света, Андрей разобрал постель. Вскоре пришла Саша и легла рядом, откинувшись на свою подушку. То, что лица Саши не было видно в темноте, как будто его еще можно было придумать, и то, что от него доходил единственный определенный запах земляничного мыла, вызвало в нем одновременно ощущение доступности и загадочности. Он думал о том, что лица Саши он уже не может выбрать или придумать, что оно выбрано раз и навсегда, и все же чего-то боялся (что рядом с ним может оказаться не она, что ли, если включить свет?).

Андрей засыпал. Кажется, ему еще хотелось быть пионером, жить в общей палатке где-нибудь в «Артеке», волноваться только о том, что неделю не писал домой, любить какую-нибудь девочку или даже двух, и хотя бы одну из них безнадежно, думать, как о неприятности, что завтра утром погонят на зарядку и в море, и какая будет в море холодная и зеленая вода. Ему хотелось исчезнуть в это беззаботное пространство, но боязнь, что, если включить свет, рядом с ним окажется не Саша, не давала ему свободы перелета и тянула назад. Он знал в то же время, что сегодняшняя тревога и разброд пройдут, и завтра им снова будет хорошо с Сашей, как всегда.

Действительно, наутро, проснувшись раньше обычного, он увидел Сашино напряженное во сне, как бы летящее к нему лицо и улыбнулся.

ЧУВСТВО ЮМОРА В ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЯХ – все равно что дневной свет. При нем пугающие фантомы тьмы превращаются в плащ на гвозде, в мокрый куст шиповника, в шину от «Кировца» или в какой-либо иной понятный предмет. Щелкнуть бы ту девочку по носу да пригрозить тем самым пушистым пучком – то-то бы она вмиг очеловечилась, стала бы понятной и ничуть не страшной.

Девочка, кстати, была милая. И новую погоню за нами приняла взახлеб, как бы щадяще опаздывая с ударами. Но скоро мы, как и наши предшественники, утомились. Утомились быть добрыми и скрывать под веселым потаканием чужому одиночеству нашу разгоревшуюся к вечеру тягу друг к другу.

Однако вечер этого дня прошел обыкновенно. Разве чуть больше подначивали мы друг друга и упражнялись в остроумии. Потому что на душе было все же немного скверно. Это правда.

ПРИЗНАВШИСЬ ТАРАБЛИНУ, что его состоянию свойственно всякое отсутствие желаний и мыслей, Андрей был не совсем прав. В Тарусе он много думал о своих родителях, в частности, об отце, которого почти не знал. Неизвестно почему мысли эти приходили к нему во всякую свободную от Саши минуту, и даже с ней он никогда о них не говорил.

Что-то, казалось ему, жизненно важное и необходимое для будущего было в этих возвратах в прошлое, но он сам пока не мог понять что. Он пытался уловить некую ритмическую закономерность, осмысленное воссоединение чьих-то устремлений и волю, которые теперь расцвели в нем ослепительным счастьем.

Но этой-то осмысленности, он, как ни старался, не мог обнаружить в прошлом.

Отец его был из тех бедняков, в ком голод физический стимулировал голод духовный. Впрочем, последнюю формулу можно сузить до выражения «воля к знаниям», да и не в таком, может быть, совсем уж чистом виде, а воля к знаниям как форма утверждения себя в новой жизни.

Тут важны не столько способности и сила характера, сколько социальное чутье, которое в такой же степени дар и талант, как, к примеру, темперамент, музыкальные способности и все прочее.

В детстве за зиму вынужденного сидения на печи без обуви изучил он самостоятельно программу семилетней школы, сдал экзамены в районном ШСМ и устроился на курсы бухгалтеров, параллельно обучая в ликбезе неграмотных. После нескольких месяцев работы в коопе-

рации внимание его привлекло объявление об открытии шестимесячных учительских курсов. Молодой бухгалтер оказывается на этих курсах и вот уже в свои неполные восемнадцать лет возвращается учителем в соседнее с родным село, откуда недавно ушел босым.

В городе, кстати, Григорий познакомился и со своей будущей женой – Пашей. Ее, уехавшую из деревни то ли за новыми впечатлениями, то ли от каких-то неприятных воспоминаний, судьба привела в качестве официантки в ту столовую, где обычно обедал отец, и даже в один из дней аккуратно подвела к его столику.

В этом месте сюжета Андрей останавливался. По всем романтическим канонам здесь должна была таиться первая разгадка. Но его воображению представлялся только заурядный случай: скучающий в чужом городе молодой бухгалтер и скучающая симпатичная официантка.

Если и усматривал он в этой встрече что-то более значительное, если и трогала она его невольно, то лишь потому, что далеким следствием этого эпизода было его собственное рождение. Но, говоря честно, это выглядело чуть ли не подтасовкой. Ведь выходило, что он сам из своего настоящего подавал руку помощи прошлому, а ему хотелось, чтобы было наоборот.

В селе к моменту возвращения отца уже образован колхоз. Конюшня, в которой он чистил кулацких лошадей, превращена в школу. В ней занимаются одновременно четыре класса. У него шестьдесят учеников.

Положение у отца уже не то, что год назад. По первым ступенькам лестницы он, можно сказать, пробежал на одном дыхании и даже не заметил, как отрастил лихие усы, как с махорки перешел на папиросы. К старому учителю, бывшему дьячку, уже обращался на «ты».

Односельчане быстро поняли, что недолго осталось Григорию учительствовать. Не полной ногой ступает человек на землю. Хозяйством не обзаводится. Задумывается часто.

В этом месте Андрей делал вторую остановку. Хотелось ему проникнуть в мысли отца. Он понимал, что занятие это бессмысленное, но от этого становился еще упорнее.

О чем тогда думал отец? Была ли ему помощью любовь мамы? Или не было любви, и он это чувствовал, и от этого страшно было пускаться в новую жизнь?

Дальше все складывалось у отца правильно и успешно, но его, Андрея, детские впечатления никак с этим успехом не совпадали.

Через некоторое время после того, как стал он учительствовать, вызвали Григория в военкомат и предложили ехать в Ленинград – поступать в военное училище, – жизнь сама шла ему навстречу. Из училища он вышел лейтенантом связи. Попал на финскую.

Окончилась финская. Никто не знал еще тогда, что это передышка. Вызвал отца к себе начальник отдела кадров при штабе дивизии Петр Петрович Плеханов («Пэ в кубе»). Сказал, чтобы срочно отправлялся он в Петропавловскую крепость, где в это время организовались Курсы усовершенствования комсостава (КУК). После КУКа вышел он командиром учебного радиовзвода. Вскоре после этого и Паша окончательно перебралась в Ленинград. Потом война. Уже утром отец был в Песочной, где формировалась их часть, а мать осталась одна в незнакомом городе с маленькой дочкой на руках.

Так, собственно говоря, и решилось, что Андрею суждено было стать ленинградцем. Со всеми вытекающими отсюда последствиями.

После войны отец еще некоторое время работал в училище, но выше майора так и не поднялся. Армии нужны были уже новые офицерские кадры, отец же не стал поступать в академию и вскоре демобилизовался.

После демобилизации устроился работать шофером на «Катушке». Было это уже в году пятьдесят четвертом. Андрей, которому было тогда семь лет, помнил его в эту пору.

Нельзя сказать, чтобы смену кителя на ватник отец воспринял легко. Его прямая спина и манера при ходьбе ставить ноги носками в стороны, оставшаяся со времени недолгой службы в кавалерии, выказывали нежелание смешиваться с гражданским людом. Однако гордая эта осанка почему-то вызывала в Андрее жалость к отцу. Может быть, потому, что во время ходьбы

отец размахивал руками и разговаривал сам с собой. А через год-два и плечи его осели, и походка стала обыкновенной, разве ноги чуть пришаркивали, как в полонезе, да голова, точно у гоголька, всегда была запрокинута.

Уж работая на «Катушке», отец устроил в сарае мастерскую. По собственным чертежам сделал верстак и некоторые инструменты. Особенно гордился фуганком, выклеенным из бука и груши. Вечерами в этой мастерской он делал себе и соседям нехитрую мебель.

В сарае с отцом Андрей мог просиживать часами, смотреть, как масляно из рубанка выползают желтые стружки, дышать спиртовым запахом древесины. Иногда он помогал отцу подгонять шипы или помешивал клей.

За работой отец был разговорчив. Андрей заметил, что неуловимым ходом любую историю подводит он к тому, что все на земле совершается по какому-то никем до конца не известному закону справедливости, и содеянное зло рано или поздно возвращается к человеку и обращается против него, а самоотверженность и доброта, напротив, неизменно воздаются ответной добротой и любовью. Андрей даже придумал игру: в середине истории мысленно забегал вперед, пытаясь предугадать, каким образом на этот раз отец приведет ее к мирному финалу.

Про себя он немного посмеивался над этой тайной слабостью отца, но всякий раз, когда история заканчивалась, Андрею становилось хорошо и покойно, казалось, и у него тоже есть невидимый защитник, который знает, как он внутри добр и сколько умеет чувствовать, и в решительный момент он не оставит его. В такие минуты он особенно любил отца и отец казался ему самым надежным человеком в мире.

Чаще других отец рассказывал историю об английском инженере Брайане Гровере, который, полюбив русскую девушку Елену, приобрел за 173 фунта стерлингов подержанную авиетку, отремонтировал ее и в ноябре 1938 года через Амстердам, Бремен, Гамбург и Стокгольм незаконно прилетел в Советский Союз.

В первой части рассказа отец вскользь лишь говорил о любви Гровера, всячески подчеркивая, как рискован был перелет на маломощной авиетке через Балтийское море и как опасно совершенное Гровером преступление, карающееся по статье 59-3д Уголовного кодекса РСФСР. На этом драматическом фоне необыкновенно выигрывал счастливый финал. Ради него-то он и старался.

Суд признал Гровера виновным в незаконном пересечении советской границы, но, учитывая все обстоятельства, приговорил его к месяцу тюремного заключения, которое было заменено штрафом. Об этом решении отец сообщал торжественно и строго, как бы подражая голосу судьи.

На Андрея эта история производила сильное впечатление.

Отец не знал, как сложилась дальнейшая судьба Брайана Гровера и Елены, и благодаря этому их история превращалась в своеобразный миф с вечно меняющимся и бесконечно длящимся счастливым завершением.

Кроме этой истории, Андрею запомнилась еще одна, но та уже скорее по чувству недомыслия и досады, которые она вызывала.

– Дед твой до революции был сугубо верующим, – рассказывал отец. – Являлся даже церковным старостой и один только имел доступ в алтарь. А уж посты как соблюдал, как молился!.. Каждое воскресенье с утра – в церковь всей семьей. Так вот.

Новая стружка вкусно вывалилась из рубанка, отец вынул ее аккуратно, как аптекарь, и продолжал.

– И вот однажды заболела у него лошадь. Бились над ней много. Выводил ее отец в далекие луга, думал, сама она себе найдет нужную лечебную траву. И травяным отваром поил, и знахарки над ней шебаршились – поддыхает лошадь. А что было остаться крестьянину без лошади – смерть. Сена уже не привезешь. Вот тогда отец и сказал: «Верую только в Господа.

А если в таком не поможет мне, значит, и нет его». И ушел на всю ночь молиться в церковь. Лошадь же к тому времени уже и стоять не могла.

Отставив в сторону рубанок, отец вынул из-за уха папиросу, закурил и на минуту замолчал. А Андрей по своей привычке уже обряжал историю в новые подробности.

Дед, не дав никаких приказаний, скорым шагом ушел в церковь. Потом Андрей представил деда в темной церкви с красными шевелящимися огоньками лампад и выступающими из темноты ликами святых. Такую ночную церковь видел он недавно в кино. Шепот дедовской молитвы звучал прерывисто, как звук далекой пилы. Страх, который Андрей испытывал сейчас вместо деда, казался ему достаточной платой за выздоровление лошади. Он начинал торопить счастливый конец. Серым осенним утром дед возвращался домой и находил лошадь здоровой.

– Ну и вот, – продолжал отец, – возвратился дед из церкви, а лошадь уже околеть успела. Как он закричал тогда. Даже плакал. И с тех пор стал самым ярым в деревне атеистом.

Так-то. Как бог с лошастью, так и отец с ним. Все по честности.

«Да как же по честности-то?!» – хотелось крикнуть Андрею в ответ. Разве не понятно – все в этой истории виноваты – и Бог, и дед, и лошадь. А может быть, прибавлял он тут же, не виноват никто.

Ему стало жалко отца, и он испугался этой своей жалости.

Вечером отец пил в саду с доминошниками. Еще месяц-два назад он бы не позволил себе этого.

Они вышли с матерью звать его домой.

Ночь была весенняя, лунная. Камни и земля стянулись голубоватым сухим ледком, который потрескивал под ногами.

Голос отца они слышали издалека, а вскоре увидели и его. Он поднимал камешки с земли и, неестественно отклонившись, словно подставив дождю лицо, с присвистом кидал их в небо, приговаривая:

– А, чтоб они там сдохли.

И Андрей вдруг понял, что отец давно уже не верит в счастливые концы своих историй. И такую тоску почувствовал он, что тихо заплакал.

Осенью этого же года отцовская полуторка, которую в холода он отапливал катушками, столкнулась с самосвалом. От ран и ожогов отец умер к вечеру.

Когда боль и чувство утраты стали притупляться, вдруг проступило скрытое до этого чувство обиды на отца, как будто своей гибелью он их с матерью невольно предал. Быть может, это и создало в нем ту брешь, в которую утекало по капле его недолгое счастье.

ЭКЗАМЕНЫ В УНИВЕРСИТЕТ САША УСПЕШНО ПРОВАЛИЛА. Закусила губу перед доской со списками, в которых ее не было, постояла с минуту, словно приучаясь жить с новой обидой, и они пошли вместе пить кофе.

– Ты как? – спросила она его, и этот участливый тон потерпевшей тронул Андрея своей боевитой беззащитностью.

– Я – ничего, – ответил он бодро.

– Вот-вот, – сказала Сашенька и замолчала. Потом добавила: – Я буду, стало быть, вечной лаборанткой, а ты моим лаборантом.

Андрей взглянул на нее вопросительно.

– Ну как генерал и генеральша, – пояснила Саша.

– Это ты так дерзишь? – с усмешкой спросил Андрей. – А все-таки, может быть, лучше станешь профессоршей?

– Нет уж! – засмеялась Сашенька.

До чего нравилась ему эта ее привычка смеяться сквозь слезы.

– Как скажешь, – миролюбиво ответил он, словно признавая ее пожизненное лидерство.

Так у них, кстати, и повелось. Во всем, что касалось, так сказать, высших сфер жизни, он был для нее непререкаемым авторитетом. Но по житейскому асфальту его вела она, и тут уж он был покорен как мул. Пытаясь иногда в шутку утвердить свое суждение о каком-нибудь фильме или книге, он говорил:

– Женщина, посмотри, – кто ты и кто я?

Сашенька же в подобной ситуации, настаивая на голубой рубашке или выкидывая в ведро немодный синтетический галстук, спрашивала, подражая ребенку:

– Кто у нас главнее?

Эта игра в семейный паритет нравилась обоим.

Сашина знакомая, уехавшая на два года в Венгрию, оставила им свою комнату, и уже в августе они стали соседями одинокой тридцатилетней пианистки и полноправными хранителями полированной мебели, хрусталя, четырех разномастных кактусов, долговязой герани и милого их сердцу «мокрого Ваньки».

Они перетасили в ленинградскую осень всю свою летнюю ненасытимую друг другом, чайную бесконечность вечеров и беспечность прогулок. Им нравилось заблудиться в очередном незнакомом парке и наедине с птицами коротать любовь.

«Все еще лето, правда? Лето, все еще лето...» – шептала Сашенька и прикрывала ему ладонью глаза, словно бы помогая продлиться иллюзии. А ему вдруг становилось грустно от ее слов, он делал над собой едва заметное усилие, но от этого становилось еще грустнее. Что-то в этом родном и понятном шепоте чудилось ему фальшивое. Даже не в нем, нет, и не в Саше, разумеется. А может быть, в том, что кто-то выдумал времена года. И они волей-неволей должны были с этой выдумкой считаться или же наслаивать на нее собственную выдумку, что, конечно же, было не лучше. Все в нем сопротивлялось тогда и Саше, и облетающим деревьям, и необходимости вставать и идти куда-то, покупать билеты, открывать двери. Даже вот эту любовь в парке хотелось вспоминать – жить ею не хватало сил. Хотелось исчезнуть, но так, чтобы остаться навсегда. А от этой жизни в подарок – Сашу. Да, в подарок...

Он видел Сашин взгляд – прожигающий воздух. То страсть смотрела глазами женщины. Новый порыв возникал в нем, но тут же и отступал. Это уже была не сама страсть – племянница ее, троюродная, быть может, сестра. Не страсть, да, нежность к сестре.

После долгого молчания, зная наперед, что слова его будут и неуместны и грубы, но как будто по принуждению живущего в нем педанта он сказал:

– Лето. Конечно. Только – бабье.

– Тебе нравится осень? – спросила вдруг Саша, словно поймав его на неопровержимой и постыдной улике. В голосе ее послышалась та резкая вибрация смеха, которая выдавала невидимые слезы.

– Да, – сказал он. – Я люблю осень. Октябрь люблю. Ноябрь.

Между тем и бабье лето проходило. О нем напоминал теперь лишь праздничный сор листьев на аллеях. Не успели они заклеить окно, как наступили зимние холода. Но паровое еще долго не включали.

Я РОДИЛСЯ И ВЫРОС В ГОРОДЕ. Зимнее бульканье голубей на чердаках такой же для меня родной звук, как для сельского жителя писк полевой мыши. Должно быть, в этих кварталах затерялась, говоря высокопарно, моя душа.

Но иногда мне кажется, что не там ищу и не отсюда родом тайна моей жизни. Словно, родившись в городе, я был пущен по ложному следу. И только иногда во сне...

Во сне я вижу один и тот же тонкоствольный лес, насыщенный запахом разлагающейся листвы. Нет в нем ни мхов, ни трав, только редкие островки заячьей капусты да тончайшего творения цветы на сухих стеблях. И только упругий влажный коричневый ковер и коричневая

узорная трепещущая тень вокруг, не тень – среда изначального обитания, из которой когда-то я ушел динозавром в город моего детства – умирать.

Сон осуществляет долгожданное возвращение.

С горы стекает узкая речка. Я перехожу через нее. Тропинка выводит меня на высокий холм. Сейчас я взберусь на него, упаду в траву и стану ждать.

Здесь другой мир. По стеблю оранжевой пупавки ползет прозрачно-зеленая тля. Ромашки и васильки покачиваются, словно в хороводе, высоко над моей головой. Там же игрушечными коньками перелетают подтянутые кузнечики. Рука нащупывает зрелую землянику. Сейчас на этом холме со мной должно произойти что-то необыкновенное. Вернее, уже произошло когда-то. Я знаю это, но не могу вспомнить – что.

Во сне мне так ни разу и не удастся взобраться на холм. А ведь я помню не только свое состояние на холме, но и дальше: аккуратную деревеньку, раскинувшуюся за его противоположным склоном, полянку у дома, заросший цветами и кустарником палисадник, из которого сквозь колючки, глянцево-листочковые и паутину я подолгу смотрел на занятия школьницы-гимназистки.

Странно это. Я могу поклясться, что никогда не бывал ни в этом лесу, ни в том палисаднике. А между тем все это почему-то знакомо мне и всегда в неизменном виде возвращается во сне. И главное: сон этот связан с переживанием, которое в жизни вызывает только мысль о Ней...

Позапрошлым летом судьба действительно привела меня в этот лес.

Я сразу узнал его. Я прошел речку и поспешно взобрался на холм. Ничто не смущало меня на первых порах даже малейшим несовпадением, словно жизнь заручилась всевластностью сна. Земляника незаметно подбежала под мою правую ладонь. Я взял ее в рот и испугался – во сне я не срывал землянику и не помнил ее вкуса. Но я сразу понял, что так и должно быть – это я сам торопил жизнь в ту часть сна, которую ни разу не досмотрел.

Однако секунды переходили в минуты и часы, а со мной ничего не происходило. Небо совсем выцвело от солнца и было как будто покрыто ровным слоем пепла. Я задремал. Во сне снова повторился мой сегодняшний торопливый путь по лесу, вхождение на холм и то особое ощущение от совпадения сна и реальности – земляника под рукой... Я сорвал ее и проснулся от испуга.

Сухой серебряный прибой, образуемый треском кузнечиков, мгновенно смыл остатки сна. Но для чего? Чтобы, открыв глаза, я увидел вокруг себя – сон же?

«Сон в руку – жизнь в руку. Что за дурные игры!» – подумал я.

Я встал и без особой надежды пошел с холма в ту сторону, где должна была находиться деревня. Минут через десять я уже подходил к первым домам.

Еще издали меня поразили открытые, словно бы навсегда, двери домов, заросшие крапивой и проломником двory, крутой волной сбегаящие к земле заборы...

Я подошел к одному из домов, не смея еще поверить в его необитаемость. «Хозяева!..» Голос мой потонул в черноте дверного проема и не вернулся. Вдруг, едва не ударившись в грудь, из дома вылетела крупная птица, оставив жуткое ощущение то ли несозревшего испуга, то ли тоски.

Не ожидая уже встретить кого-нибудь, я пошел вдоль деревни. Странное чувство. Эти жилища, покинутые кем-то на сиротство, являли собой как бы прообраз мира, каким быть ему, если он по роковой причине будет оставлен человеческой любовью и участием. Но яснее и абсурднее из всего, что испытывал я, было чувство личной вины. В чем же я-то виновен?

Подойдя к крайней избе, я снова открыл дверь и неожиданно услышал голос:

– А и заходи... – Этот голос испугал меня теперь больше, чем несколько минут назад птица, вылетевшая из темноты.

Я вошел. На лавке у окна сидела старуха. В комнате было чисто: вымытый добела пол, беленая печь, множество ковриков и дорожек. И белый же сумрак, который бывает в чистых избах ясным днем. Я не знал, о чем спросить. Старуха тоже молчала, без напряжения улыбаясь и вглядываясь в меня.

– Здравствуйте, – тихо сказал я.

Старуха, не вставая с лавки, поклонилась в ответ.

– Вы что же, здесь одна?

– А и ведомо...

Я все еще стоял у порога, и старуха казалась мне вырезанным из бьющего в окна света куском темноты.

– Где же остальные? – нелепо спросил я.

– Молчи, – словоохотливо откликнулась старуха. – В разные места подались... Кого убило, – вдруг добавила она. – Молока хочешь?

Я кивнул. Через минуту передо мной стояла кринка с молоком и ломоть хлеба.

– Бабушка, к вам так никто и не заходит?

– Почему? – удивилась старуха. – Иногда почтарка заглянет, хлебушка принесет. Вот ты зашел...

– А детей у вас нет?

– Как ить нет? Старший – доктор.

– Врач?

– Кто ж его знает? Доктор наук, одним словом, в Ленинграде живет.

– Что ж вы к нему не переедете? Трудно одной-то.

– Пожила и у них, да мне не понравилось. В столовой возьми – написано – щавелевый суп, а щавеля-то и нет, одна вода зеленая.

«Ай, старуха, – подумал я. – Из вредных, наверное. Чего было тащиться в столовую-то есть щавелевый суп. Неужели доктор каких-то там наук от стола ей отказывал?»

– Ты кто? – спросила старуха.

«Щавель парниковый», – хотелось ответить мне. Но я промолчал.

– Ягод у вас много? – вместо ответа спросил я.

– Много, – почему-то вдруг обрадовалась старуха. – За утречко полведра соберу. А заганит, так и мерку.

В избе потемнело. Старухин силуэт начал постепенно прорисовываться и оживать. И по мере того, как он прорисовывался, мне все труднее было подыскивать нужные слова. Как будто навязался собственному прошлому в родственники.

Я уже торопился мысленно в маленькую комнатушку, которую снимали мы с товарищем на противоположном берегу реки, в наш непритязательный холостяцкий быт, где ждала меня грибная солянка. Поблагодарив, я вышел из-за стола. Старуха снова поклонилась, не вставая. Было почему-то неловко теперь сразу же взять и уйти, и я спросил:

– А рыбу вы здесь ловите?

– Не-е, – протянула старуха. – Какая я рыбачка!.. – И вдруг повеселела: – А ить однораз ловила. Батька дал удочку, говорит: «Как с лесу вернусь, чтоб язь уже в котле плавал». А и только ушел – у меня поплавок и потянуло. Я – вырк удочку на берег: мать моя, язь большущий-большущий, да и в траве скакать, удочку-то я бросила да на него как на зверя кинулась. – Старуха сильно засмеялась. – И правда, – продолжала она, – батя пришел, а язь у меня на огне.

Что-то меня задевало в старухе: веселость ли ее, оконным цветочком живущая в глуши, или то, что на каждый мой неловкостью рожденный вопрос отвечала она охотно и подробно. В мозгу мелькнула бредовая мысль, что, может быть, при своей памятьливости старуха и меня должна помнить.

– Это, с язем, давно, наверное, было, бабушка? – спросил я.

– Молчи! – охотно согласилась старуха.

Я шел обратно дорогой своего сна. Стемнело. Луна, посеребрив реку, изредка давала понять, где я нахожусь. Корни, неприметные днем, то и дело заставляли меня спотыкаться...

Невозможно уследить за разрушением счастья. Предаваясь этому бесполезному занятию, तोпятся найти виноватого и уж по одному этому не могут узнать правду.

Нечаянная радость нечаянно и уходит.

– ТЫЩУ НАСКРЕСТИ, КОНЕЧНО, МОЖНО – тетушки, дядюшки, – размышлял Тараблин, копаясь в своей Зевсовой бороде и съедая глазами потолок. – Но где взять червонец на гербовую марку?

– Десятку я могу тебе одолжить, – простодушно сказал Андрей.

– Ты кто? – вскричал вдруг Тараблин и сел по стойке «смирно». – Нет, ты скажи: ты, что ли, разрушитель чужих семей? – Тараблин расхохотался. – А если нет, то, что ты суетишься со своей десяткой? – Теперь он уже поедал глазами Андрея. Будь он на сцене, а Андрей в зале, пережим скорее всего был бы незаметен и вся эта тирада могла бы выглядеть пугающе серьезно.

– Да приглуши ты свой бас, чудовище, – миролюбиво сказал Андрей. – Ты же сам только что сказал, что устал от Инны и не хочешь фальшивым браком обманывать государство.

– Устал, – неопределенно пробасил Тараблин, – устал, конечно. Но я, может быть, и от жизни смертельно устал. И может быть, уже ничего от нее не приемлю.

– Циник, – сказал Андрей.

– Киник, – поправил Тараблин.

– Ты не Базаров, Тараблин, – сказал Андрей, пытаясь осознать смысл этого печального укора.

– Уел, – пробасил Тараблин. – Но сдастся мне, что и ты не Вертер.

– Слушай, а может быть, у нас с тобой дуэль? – весело спросил Андрей.

– Вряд ли... В эти игры я с малолетками не играю.

Толстый намек на то, что Тараблин опередил его, Андрея, в стремлении жить на полтора месяца.

– А кроме того... А кроме того – я жить хочу...

– Чтоб мыслить и страдать? – Андрей печально усмехнулся. – Какие же мы с тобой кретины.

– От компании с благодарностью отказываюсь, – прогудел Тараблин. – Кстати, что так долго нет Сашеньки? Я по ней соскучился.

– Как это с твоей стороны трогательно, mon ami. Что же мне нужно ответить? Ах, да: она у своей портнихи.

– У своей портнихи?...

– Ну, может быть, хватит?

– Другой бы на моем месте обязательно спорил, а я – пожалуйста.

Некоторое время они сидели молча. Тараблин напевал на мотив целинной студенческой: «Тыща, тыща начинается с червонца...»

– С Инкой я, конечно, разведусь, – сказал он задумчиво. – Но заодно, мне кажется, разведусь и с филологией.

– Это уже интересно, – сказал Андрей. – И куда же пойдешь?

Тараблин проглотил его глазами и сказал, как давно обдуманное:

– В сторожа или в кочегары.

– Роман, что ли, будешь писать?

– Нет. Пока читать.

– Друг ты мой ситцевый... Кстати, а почему ситцевый?

– Да, кстати.

– А ты не боишься, что у тебя выработается со временем и психология кочегара?

– Чего ж тут бояться?

– Но кочегара не потянет на роман.

– Не потянет, и ладно. Не буду писать роман.

– В нашем доме, кстати, дворник с философским образованием...

– Вот видишь!

– Так он мне признался, – терпеть, говорит, не могу интеллигентов. Рабочий человек, где докурил сигарету, там ее и бросил, а интеллигент обязательно ввинтит ее то ли между перил, то ли в другую щель, а я, как человек добросовестный, выковыривай.

– Ценное профессиональное наблюдение. Лучше и честнее выковыривать окурки, чем числиться подпоручиком Киже при несуществующей науке филологии и толковать до полного развития плечи на голове какую-нибудь там зигзицу из великого произведения, которое давно никто не читает.

– Ну да, а ты будешь выковыривать окурки и размышлять о добре и зле, о «слезе младенца», о «быть или не быть»...

– Помилуй, – поморщился Тараблин, – все эти вечные вопросы. Это как раз ты, биясь над своей зигзицей, будешь думать, что решаешь их. А я ж тебе сказал – я жить хочу, а не пахать плугом небо. Жить. Только и всего. Можно?

– Да что сказать тебе – живи, – вяло отозвался Андрей.

Усилия Тараблина, однако, как всегда, возымели над ним свое действие. Сквознячок то ли беспокойства, то ли недовольства собой начал кружить внутри, и Андрей уже торопил Сашу.

Пианистка Наташа за стеной тронула клавишу, как будто уронила на пол взрывчатую каплю нитрогликоля.

А Саша все не шла. Андрей был уверен, что она опять заглянула в «свою» компанию. И поводы для этих «заглядываний» он давно уже знал наизусть: Светке достали фирменное платье, не ее размер – надо примерить; у Машки день рождения; к Вигену приехал дядя из Армении, навез кучу экзотических разностей; у Светки день рождения; годовщина Лицея – школьная традиция; у Славки новая Элла Фицджеральд; у Тамары день рождения; Кеша пригласил поэта Ширали – говорят, гениальный... Не было конца этим всегда новым поводам и соблазнам.

Поначалу он ходил с Сашей. Ребята были милые и легко приняли его в свой летучий клуб. Все они любили Сашу и верили в братское единение. Они ели картошку в мундире, пели грустные и веселые песни, азартно философствовали, перемывая попутно косточки президентам, соседям, поэтам и господу богу. С ними было просто, уютно, даже интересно.

Но постепенно Андрей понял, что не успевает насыщаться между этими чересчур регулярными встречами. Едва в кратковременном уединении внутри его пробивался неуверенный росток мысли или наблюдения, как тут же вытапывался на этих многочасовых интеллектуально-картофельных балах. Он всегда высоко ценил то, что Экзюпери назвал «роскошью человеческого общения», любил встречаться с товарищами по школе и университету, ходил на поэтические вечера и лекции психологов. Приобщение к культуре через лицедейство было знаменем времени. Но это, это была уже не роскошь общения – что-то другое.

А когда ссорились они по этому поводу с Сашей, она говорила то же, что Тараблин: «Жить хочу, Андрюша. Просто жить».

Но что такое – п р о с т о ж и з н ь? Есть ли она? И может быть, не жизнь это, а сон души. Но что же тогда жизнь истинная?

Доводы Тараблина смущали Андрея не столько существом содержащихся в них мыслей, сколько сущностью того состояния, которым они были порождены. Его планы побега от жизни (или к жизни – как посмотреть) для Андрея являлись симптомом того, что менялся климат эпохи. И вот уже Тараблин одним из первых метил в люмпены. Ему грезился образ жизни

философа и анакорета, жизнелюбца, авантюриста, бродяги. И ничуть не смущало, что путь восхождения к этой жизни лежал через подвал кочегарки.

Андрею претил этот путь. Но симптом был, был.

Критика без пафоса отдавала цинизмом. От увлечения «Гренадой» и «Бригантиной» оставались кафе «Гренада» и «Бригантина», но и эти уже отступали под напором стилизованных «Витязей», «Погребков» и «Гриль-баров».

Жизнь стала входить в нормальную колею, с которой чуть было не съехала. Вновь обнаружили присущий им человеколюбивый смысл всевозможные правила и установки. Правила пользования газом, правила дорожного движения, правила приготовления пищи, правила отдыха на воде, правила проезда в метро, правила хорошего тона...

Пройдет еще несколько лет, и горожане начнут покупать у колхозов брошенные избы.

Построили домовые кухни, ввели производственную гимнастику, запретили автомобильные гудки, и люди по вечерам стали приглушать свои телевизоры. Между тем ученые в газетах привычно бодрым тоном рассуждали о том, из-за чего именно (в необозримом, впрочем, будущем) погибнет вселенная – из-за катастрофического сжатия или же, напротив, из-за ускоряющегося разлетания галактик. Люди с интеллектом поуже покуривали в ожидании нового ледникового периода.

Кто-то продолжал открывать новые звезды, частицы и литературные имена. Открыли кривизну пространства, асимметрию мозга, биополе. «Берегите мужчин!» – призывали газеты. «Балуйте детей!». Очевидные для природы истины входили в сознание через кажущийся парадокс.

Он проснулся легко, словно порвалась лента в кинотеатре и вспыхнул свет. Вспыхнули в темноте сияющие Сашины глаза. Они были до того настоящие, что в первый миг хотелось отпрянуть. Снежные капли покрывали ее шапочку мерцающим панцирем. Саша поцеловала его и сказала:

– Я целую тебя. – Потом сказала: – Я тебя глажу, – и он почувствовал на щеке ее пахнущую снегом руку. Саша расстегнула пуговицы его рубашки, прижалась к его груди щекой и прошептала: – А я тебе теплого рябчика принесла...

– Отпусти. Пусть еще летает, – ответил Андрей.

– Садист, – засмеялась Сашенька, – он после духовки не может летать.

– А, так это задушенный рябчик. Тогда тащи его сюда!

Часы за стеной у пианистки равнодушно пробили час ночи.

– Где ты была, гуляющая? – спросил Андрей, когда Саша принесла ему рябчика величиной с кулачок.

– Что ты, я же тебе говорила – сегодня был день рождения у Кеши, – торопливо сказала Саша.

– Это у того, у сублильного?... Ну, который похож на плащ, повешенный без плечиков.

– Андрюша, ну зачем ты притворяешься злым?

– Я все хотел спросить, сколько у вас в классе было человек?

– Кажется, тридцать девять. Не помню. А что?

– Мне казалось почему-то, что триста шестьдесят семь. Все думал, что же за замечательный такой класс...

– А... Так ты устраиваешь мне сцену, – в нервном ожидании того, что разговор может пойти всерьез, засмеялась Сашенька. – Как это я сразу не догадалась.

– Впредь будь догадливей, – сказал Андрей, кладя на тарелку обглоданную косточку. – А рябчик-то – тьфу! Пчела и та сытнее. За что, не понимаю, буржуйам от Маяковского досталось?

– Ты уже не сердись? – заискивающе спросила Саша и стала слегка поигрывать на его ребрах.

– Сержусь, – сказал он. Сашина манера добиваться перемирия была ему неприятна.

– Ты скажи, что не сердись, скажи, – просила Саша.

Андрей молчал. Он привык расплачиваться со своими переживаниями, иначе они и сами как бы теряли цену.

– Вот ты смотри, – сказал Андрей после некоторого молчания. – Вот сегодня весь день мы летели с энной скоростью в космическом пространстве. Я много-много часов летел без тебя. Как только Тараблин ушел, так я стал лететь один. Это жутко, знаешь, лететь одному в холодном космосе. Но я летел терпеливо, я знал, что ты проберешься ко мне по летящей земле, и мы полетим вместе. Вместе – совсем другое дело. Но тебя все не было и не было. И я заснул. Потому что, если нет того, с кем можно лететь, а лететь надо, то лучше спать. И вот ты пришла...

– И вот я пришла, – попыталась улыбнуться Саша.

– И вот ты пришла, и мне, дураку, показалось, что я уже не жертва какой-нибудь там господней пиццали, из которой меня выпустили. Мы как будто снова сами толкали землю. Но потом эта щекотка, этот задушенный рябчик...

– Сам съел рябчика и теперь им же попрекает, – пошутила Саша.

– Да перестань ты! – вскрикнул он и тут же пожалел об этом. Сашина голова сползла с его плеча, и вся она как будто и правда стала отлетать от него.

Как он любил ее сейчас. Так же, наверное, как в первую их ночь.

Но Андрей чувствовал, что не может, как ему хочется, повернуться, обнять Сашу, приласкать ее. Непосредственность давалась ему тяжело.

Он встал, нащупал на столе пачку «Шипки» и закурил. И тут вместе с первым глотком дыма ему вдруг стало ясно, что все, что он сейчас наговорил, жалкая и тираническая демагогия. И родилась она не столько от любви к Саше, сколько от страха одиночества.

Искристый от фонаря снег, словно белый карандаш, силился и не мог заштриховать черное окно. Как если бы оно было покрыто воском и не поддавалось грифелю. Эта тщета снега усилила его беспокойство.

– Саша! – позвал Андрей.

Саша молчала.

– Саша! – снова окликнул он.

– Да что уже там, зови меня просто Жучка, – сказала Саша.

– Мне просто было плохо без тебя. А ты не виновата. Я понял. Прости.

– Не смей больше на меня кричать, – жестко сказала Саша.

– Ладно, я только буду тебя маленько побивать. Для порядка.

– Только попробуй, – усмехнулась в темноте Сашенька.

– Сашка, но тебе ведь летом поступать, а ты все шляешься.

– Да почему обязательно поступать? Может быть, я раздумала.

– Ты серьезно?

– Серьезно. В том смысле, что я имею право раздумать, имею право надумать...

– Ну не кипятись, – ласково прервал ее Андрей.

– Стану, например, маникюршей.

– Или педикюршей.

– Вполне. Это знаешь, какие деньги.

– Деньги – это прекрасно. Мы их будем каждый день солить, мариновать, тушить, печь и еще на черный день хранить в морозильнике. Или до морозильника все же не дойдет?

– Помнишь, я тебе рассказывала о бабке Вере?

– Которая копила на матрац?

– Да. Когда я в тебя влюбилась...

– Втрескалась...

– Втюрилась, одним словом. Так вот, я все думала, что мы поженимся и купим бабке Вере матрац.

– Да, ты говорила.

– Это, понимаешь, представлялось мне тогда задачей жизни. Ты и мечта эта были вместе – поженимся и купим ей матрац. Я этого очень хотела. А сейчас, понимаешь, я сейчас ничего так вот очень не хочу. Я люблю тебя, мне с тобой хорошо, но я не знаю, что со всем этим делать.

– Ты у меня молодец, – после небольшой паузы сказал Андрей. – Ты просто чудо... Это есть, есть, то что ты сказала. Что с этим делать... Правильно... Что с этим делать, – вдруг с полушутливым воодушевлением повысил он голос, – сочетать с общественно полезным трудом!

– Ты все треплешься, – сказала Саша.

– В общем-то нет, – ответил он. – Пить хочется после твоего рябчика.

– Я пойду поставлю чай.

– Не надо, – остановил Андрей, – я сейчас сам поставлю. – Но он не сдвинулся с места и продолжал после паузы без явной связи с предыдущим. – Мне, знаешь, все хочется делать так, чтобы я лучше понимал жизнь, помочь что ли. А для этого я сам должен становиться лучше, совершеннее. Но труд этот не по силам одному. Только двоим. Это блеф, что человека делают страдания. Мы обязаны быть счастливыми, понимаешь. И это (как бы сказать) не только наше с тобой дело. Если мы хотим, чтобы другие стали счастливыми, мы, прежде всего, сами должны научиться быть счастливыми.

– Все это очень абстрактно, Андрюша, – сказала Сашенька. – Ты вообще очень веришь в слова. Для тебя они почти то же, что жизнь.

– Вот здесь ты опять стала дурой, – возмутился Андрей.

– Побыла несколько минуточек умной, и хватит для начала. Я ведь еще только учусь.

– Какие же все это абстракции, Сашка!

– А такие, что, сколько бы ты ни совершенствовал себя, люди все равно не будут знать, куда девать себя вечерами. Это загадка...

– Смотри-ка ты – опять умна, – похвалил Андрей.

Целый день человек живет эхом – книги, другого человека, собственных слов. И только в эту вечернюю паузу с удивлением обнаруживает собственную пропажу. И значит, именно ради этих двух-трех часов в сутки люди соединяются на всю жизнь и называют это любовью? Невозможно.

– Я жить хочу, – сказала Сашенька, – весело, интересно... Путешествовать, знакомиться с новыми людьми, нравиться мужчинам. Андрюша, я ведь женщина.

– Что-то я не нахожу себе места в твоих обширных планах.

– Ну почему – мы будем вместе путешествовать...

– И вместе нравиться мужчинам.

– Дурак. А вообще... Ты знаешь, ты ведь из редчайшей, из вымирающей, можно сказать, породы понимающих, – Саша прижалась к нему и поцеловала. – К тебе хорошо возвращаться.

– Так ты поэтому пропадаешь чуть ли не каждый вечер в своей компании?

– Чтобы возвращаться? – уточнила Саша.

– Ну.

– Язва ты, – улыбнулась Сашенька.

– Сашка, правда, ну чем вы там занимаетесь! Заполняете пустоту пустотой...

– Наверное, – согласилась Саша. – Мне уже иногда бывает с ними скучно. Но у меня нет ничего другого.

– Потому что ты все время хочешь схватить от жизни кайф.

– Ну, как ты ужасно говоришь. Ты вообще умеешь ужасно сказать.

– Да ведь так. Ведь тебе же мало наших отношений.

– Вот теперь уж точно, ты дурак. Мне их, наоборот, слишком много. Нет, не так. Их для жизни слишком много. Вот, допустим, они – канат, а жизнь предлагает нам просунуть его через угольное ушко. Что остается делать – мы пытаемся просунуть. И ничего не получается, конечно.

– Да, – засмеялся Андрей. – Выходит, тщета и сплошное неудобство. Ладно, я на кухню. Рябчик горчил.

Андрей вышел на кухню и зажег газ. Форма пламени напомнила ему голубую елочную звезду из фольги. «Можно ли поклоняться этому огню?» – почему-то подумал он.

Кухню пронизывал тоскливый звук водопроводных труб. Он напоминал сиплый человеческий стон. Неприятно. А все же казалось страшно, если он вдруг прекратится, как будто это был не звук, а проволока, натянутая над пустотой.

Звук прекратился. Андрей подумал, что в этот час на земле происходили, наверное, тысячи разговоров, подобные их разговору с Сашей. И каждый принес в мир не больше тепла и пользы, чем одна такая конфорка. И придуманный им феномен – один из ее лепестков. Самостоятельно даже чайник не согреет.

Фантазия разыгралась. Ему представилось, что он с серьезным лицом лепит из плавающего по полу пуха какую-то фигуру. Но ветер то и дело открывает форточку, у которой почему-то нет шпингалета, и вся работа идет прахом. А за окном хохочет Саша. Там много людей. Они играют в «картошку». Сашу посадили в круг и стараются попасть в нее мячом. Попадают; она взвизгивает, кричит и снова хохочет, но уже как-то ненатурально. Ему становится страшно. «Сашка, – кричит он, – почему ты там, когда тебе надо быть здесь?!» – «Зачем, зачем мне надо быть „здесь“, а не „там“? – кричит, не переставая хохотать, Саша. „Чтобы держать форточку, как ты не понимаешь!“ – „Еще чего, – хохочет Саша. – Зачем ее держать? Ты посмотри, какой день!“

На улице яркая весна. Лысая земля начала отращивать траву. Ольха роняет в нее сережки, и те извиваются мохнатыми гусеницами. И Саша извивается на земле, пытаясь увернуться от мяча. Любовные игры древнее цивилизаций. Тысячелетия молодые мужчины охотятся за женщиной, пытаясь поразить ее точным ударом. Тысячелетия уворачивается она от них и убегает, чтобы ее догнали. И сейчас, как когда-то, бессмысленно звонкое солнце смотрит на все это с лакейской непроницаемостью.

По полу перемещается пух, сдувается в бугристые загадочные формы. Желание работать снова входит в него, но предчувствие бессилия делает глупыми его руки, и он уже готов все бросить и присоединиться к общей вечной игре в «картошку».

Это ощущение собственного бессилия не раз возникало у него в библиотеке: нужно ли для жизни то, что он делает, и не пропускает ли он эту самую жизнь в то время, пока якобы постигает ее тайны? По воле обстоятельств, по призванию ли он, конечно, принадлежал к „книжникам“ и испытателям, но по происхождению, по детству, по внутренней тяге – к людям жизни.

Вспомнилось, что он писал Тараблину из Тарусы: „... когда мы с тобой впервые подумали обо всех этих людях „они“, вместо „мы“?... разрыв этот вреден... „они“ – это ведь и родители наши...“ То, что мама не поймет в его курсовой ни строчки, – это ладно. Но понимает ли он свою мать – вот вопрос.

Запас его положительных представлений о яркой, деятельной, быть может, даже героической жизни был невелик и питался в основном детским чтением. Сегодня все это казалось только забавным. Нет, надо заниматься своим делом и не где-нибудь, а здесь. Ему предложили заменить в соседней школе литераторшу, которая ушла в декрет. Так тому и быть – он переводится на заочный и идет работать в школу. О своем намерении Андрей решил до времени не говорить Саше.

Сейчас ему было ясно: в том, что они с таким упоением принялись теоретизировать о любви и о жизни, было что-то печальное. Еще недавно ему больше всего нравилось молчать рядом с Сашей, нравилось, когда она, подняв на него посветлевшие от чтения глаза, спросит: „Майя – это индейцы?“ или: „В детстве я думала про портрет Гончарова, что это Обломов“. Нравилось, как подходила она к нему сзади и, обняв за шею, заглядывала в книгу. Странен был рядом с этим их сегодняшний отчет друг перед другом.

Вдруг из их комнаты раздался неимоверной силы гром. Сквозь него он расслышал тонкий женский крик. Не успев узнать Сашин голос, с упавшей в живот пустотой Андрей бросился к дверям.

Саша лежала поперек тахты и хохотала.

– Что такое? – спросил он в бешенстве.

Транзистор был включен на полную мощь. Солистка тянула последнюю ноту арии.

Андрей выключил транзистор, и получилось, как будто тряпкой заткнул рот певице.

– Там же Наташа, – сказал он, еще трясаясь от шока.

– Наташа сегодня не ночует, – ответила Сашенька и закинула руки за голову. В ее позе, в улыбке, в этом движении была какая-то влекущая непосредственность и бесстыдство.

– Сашенька, – сказал он. – Сашенька. – И вдруг закричал с ковбойским азартом: – Ах, ты так?!

Целуя ему лицо, Саша повторяла: „Чайник... Ах... Слышишь, ты забыл на плите чайник...“

ВСЕ НЕПОПРАВИМОЕ СЛУЧАЕТСЯ РАНЬШЕ, ЧЕМ СЛУЧАЕТСЯ. И это знание или предчувствие дано каждому человеку. Но всем этого мало. Им подавай историю, сплетню, легенду, в которых, по правде говоря, мало толку, но зато можно все пережить заново.

Допустим... Представим... Предположим... Вообразим...

Допустим, Саша первая из них двоих открыла в себе возможность сравнивать Андрея с другими знакомыми. Представим, к примеру, что произошло это впервые в том самом летучем клубе одноклассников. Предположим, на дне рождения Вигена, на который он пригласил несколько новых товарищей из „Мухинки“. Вообразить себе этот момент нетрудно: вино, профессиональный сленг, изящное остроумие и мгновение неосязаемой грусти в медленном танце. Все это знакомо и неинтересно.

Ну, разумеется, в самой возможности сравнивать Андрея с кем-то или даже чуть увлечься другим Саша на первых порах не видела ничего угрожающего их любви. Более того, всякое сравнение было поначалу в пользу Андрея. Сравнение даже было как бы катализатором любви, и, бывало, уже в середине вечера Сашу неистребимо начинало тянуть к Андрею, она с ума сходила от тоски и нежности к нему.

Между тем непоправимое уже случилось, хотя ни он, ни она об этом не подозревают.

Как только Саша стала сравнивать Андрея с другими, она тут же невольно начала его „сочинять“, то есть пополнять эту его некогда абсолютную для нее ценность вполне относительными достоинствами.

Несовпадение образа реального и сочиненного обнаружилось, конечно, довольно быстро. Но и оно еще не могло разрушить Сашиного чувства, а внесло в него только элементы досады, в которой она, не признаваясь себе, обвиняла Андрея.

Однако вот уже настало время, когда несовпадение сочиненного и реального образов начало вынуждать Сашу искать более серьезной компенсации. На роль компенсатора был выбран, ну, допустим, Кеша, тот, который, по определению Андрея, похож на плащ, повешенный без плечиков. Тут мы должны узнать, что Кеша еще со школы был влюблен в Сашу. Влюблен тайно и молчаливо. И не знаю почему, но молчаливый Иннокентий почувствовал, что настала пора открыть Саше свою любовь. И сделал это, надо сказать, очень кстати. Саша впер-

вые слушала его благосклонно, а затем не раз подталкивала к новым признаниям, не давая, впрочем, никаких надежд.

Но Кеше, судя по всему, доставляло наслаждение открыто страдать. Возможность объяснений была для него бесценным подарком. А может быть, он смотрел дальше? Сознание собственной ничтожности порой делает людей нечеловечески пронизательными. Во всяком случае, не меньшее наслаждение его страдание доставляло и Саше. Ничего дурного она в этом не видела. Да, может быть, в этом и не было ничего дурного.

Однажды Андрей, надеясь застать Сашу, заглянул вечером к Кеше. Визит его получился внезапным. В полутемной комнате он увидел сначала Тамару – она переворачивала пластинку. Саша с Иннокентием сидели на диване. При этом Сашина голова была откинута, глаза блестя, она прерывисто дышала, вероятно, после танца. Кеша сидел как-то боком, словно извиняясь, словно с тем намерением, чтобы в нужную минуту ему было удобнее пасть на колени.

– Ребята, нас засекли, засекли, – радостно захлопала в ладоши Тамара и потащила Андрея танцевать. Саша с Иннокентием тоже встали, смущенные, и на нелепом расстоянии почти вытянутых рук начали прохаживаться в танце.

– Андрей, – сказала Тамара так, чтобы было слышно Саше, – тебе не кажется, что Саша с Кешей очень похожи. Прямо брат и сестра. – Андрей слегка повернул голову и с удивлением понял, что Тамара права. Открытие было неприятным.

В комнате пахло высыхающими мимозами и перегретыми лампами приемника, так знакомо. И звучало какое-то танго. Курносая Тамара заглядывала ему в глаза, по-прежнему ожидая ответа на свою игривую двусмысленность.

– Да, – сказал Андрей, криво усмехнувшись, – все мы стремимся к совершенству.

Вот и все. Вы ждете сцен и объяснений? Их не было. На свое несчастье, и Саша и Андрей считали нужным вести себя достойно, держа в уме литературные образцы. К тому же они продолжали любить друг друга.

Что же Андрей? Он тоже был не безгрешен. Если, конечно, можно вменить ему в грех долгие беседы с пианисткой Наташей. Андрею льстила серьезность, с какой взрослая женщина разговаривала с ним об искусстве. Внутреннее напряжение, которое он испытывал в этих разговорах, было приятной гимнастикой. Запальчивый и опрометчивый с другими, здесь он становился сдержанным.

По матери Наташа была грузинкой. Вся она походила на большую птицу: синими выпуклыми глазами, крупным носом, низким хорошим голосом, угловатостью непомерно высокой фигуры и плавностью движений. Она имела привычку, слушая собеседника, держать на далеком расстоянии от лица зажженную сигарету или кусочек бисквита. Черт знает, почему эта привычка так действовала на Андрея.

Несмотря на то, что Наташа получила вторую премию на конкурсе „Праздничная весна“, работала она в основном на заводах, в общежитиях, на открытых эстрадах и в Домах культуры. Такая очевидная несправедливость чувствительному сердцу позволяла соединить в одном лице талант и жертву.

Слушал он Наташу всегда с особенным вниманием. Однажды она сказала: „Андрей, нельзя так много думать. Вы быстро устанете“.

С ним и правда случались иногда часы, даже дни, когда его словно бы не хватало на жизнь. Саша каким-то образом всегда это чувствовала. Тогда они шли бродить вместе по Невскому, заворачивали в „Новую Голландию“, иногда ездили на острова. Перекусывали в каких-то неожиданных, как щель, „Котлетных“ и „Пышечных“. Засматривались на голубей, на белок, на дома, на облака, на деревья, на книги... Их гнало порожняком, ворохи впечатлений проносились мимо как в вагонном окне, не успевали закрепиться в памяти, но вызывали долгое волнение...

В университет Саша снова не поступила, и все у них пошло по-прежнему.

А под Новый год Саша сообщила ему, что ждет ребенка. Весной ей предложили лечь в больницу на сохранение. Она тянула – через неделю был ее день рождения. Кончилось тем, что накануне дня рождения Сашу в тяжелом состоянии увезли на „скорой“. Утром в коротенькой записке ему она написала, что у нее выкидыш.

Андрей не умел переживать смерть еще не рожденного ребенка. Ему было жалко Сашу. Записки ее были сухими и короткими. Он таскал ей банальные апельсины и подолгу сидел напротив ее окна в больничном скверике.

Ненужные ручки проносили мимо древесный сор. Голые ветки деревьев были так плотно облеплены воробьями, как будто они там росли. Случилось страшное, но он испытывал какого-то иного рода беспокойство, как будто этому страшному только еще предстояло случиться.

На Сашину выписку он пришел с букетом роз. Когда он протянул ей цветы она заплакала, но, увидев его испуганное лицо, улыбнулась и сказала:

– Ну, ничего, ничего...

Она была уже взрослее его.

Они списались с Ольгой Осиповной, и в конце мая Саша уехала в Тарусу. Он радовался каждому ее письму, их словно бы писала прежняя Саша...

„С ума сойти! Я попала сразу в лето. Могу тебе о нем рассказывать хоть всю ночь. Как трава лезет сквозь прошлогоднюю листву, как медленно округляются листья осины... Прямо у танцплощадки, в доме отдыха распустились ландыши. Ну, я тебе уже надоела? А то могу еще похвастаться: я теперь отличаю пение иволги и соловья и начинаю разбираться в птичьих яйцах. Вот“.

„Выследила гнездо зеленого дятла. Он выбил его в толстой осине. Я взяла и ударила по ней палкой. Знаешь, как птенцы заволновались! И долго еще кипели внутри, пока я совсем не ушла“.

„Играем с соседской Олюшкой. Ей шесть лет. Она ловит бабочку и кричит: „Бабочка, ну если ты и сейчас не поймашься, я тебя изобью!“ Чем-то мне это напомнило себя недавнюю. Давнюю“.

„Днем все хорошо, а ночью... Он снится, понимаешь? Просыпаюсь в слезах“.

„Помнишь, ты говорил, что в каждом человеке заложено стремление к совершенству? Но у меня этого, кажется, нет. Что, если я только женщина? Этого мало? Или тогда надо быть обязательно матерью-героиней? “

Прости дуру. Хочу к тебе, учиться, родить, быть красивой, сводить с ума и оставаться великодушной, читать газеты, книги... Только все же стремление к совершенству мне не подходит. Придумай для меня что-нибудь другое, а? Ты ведь можешь!“

„Дарю фразу: разломанный крыжовник похож на сундук с драгоценными камнями“.

„Буду знать и понимать не меньше, чем ты. Мне теперь мало щенячьего понимания и щенячьей любви. А раньше я думала, это бог знает что. Вышее!“

„Слушай, слушай! Я поймала девять карасей, одного голавля и плотвы еще целую горку! Сколько рыб за эти дни увидела и перетрогала руками: линь, налим, карась, голавль, усач, минога... Это еще не все: рыбец, плотва, угорь, щука, лещ, форель, уклейка... “

Как хорошо, если бы ты знал! Видно, как под розовыми облаками на воде ходит темная щука и тут же от нее прыскает мелочь. В подсачнике шелестит голавль. Солнце тихое, и поплавок катится по черной воде, останавливается в заводях и ныряет за тенистыми корягами. Когда долго не клюет, рыбаки говорят: „Учим поплавок плавать“. Я приеду к тебе бодрая, спокойная и влюбленная“.

И вдруг письма прекратились.

Ах, если бы ему знать, что никогда так не бывает худо и никогда мы так ни далеки от новой жизни, как когда принимаем решение ее, новую жизнь, начать. Быть может, тогда он

расслышал бы насаду в Сашиной беспечности, почувствовал бы измученное усилие воли. Тогда он, возможно, бросил бы все и приехал в Тарусу. Но...

Какие дни стояли в Ленинграде – жаркие, хоть прикуривай от них. Только ветер и спасал. Было ощущение, что в прохладной лодочке плывешь по жарким волнам, и все еще, все еще в жизни возможно.

Заканчивались школьные экзамены, начинался ремонт классов, открывался городской пионерский лагерь. Андрей вдруг оказался незаменим на всех фронтах. Более того: если бы вдруг выяснилось, что где-то спокойно обходятся без него, Андрей, пожалуй, растерялся бы и пал духом. Однако в то лето подобное испытание ему еще не угрожало.

Его останавливали в коридоре и просили подобрать колер то для одного, то для другого класса, и он с упоением сочинял новые и новые оттенки. В школу завезли новые шкафы. Половина из них оказалась некомплектными, (то полки не хватало, то стекла), а два были и вовсе бракованными...

– Андрюша, голубчик, – просили его, – поезжай с Тарасом Петровичем в магазин. С ними ведь, знаешь, как надо говорить – мягко-твердо, чтобы и не обидеть и не уступить. Ты это умеешь.

Он это умел и поэтому без колебаний поехал в магазин и, к всеобщему изумлению, уладил дело.

В эти дни им двигало что-то еще, помимо собственной воли и умения, и это что-то гарантировало успех. Главное, не только он это сознавал, но и все вокруг. Ему даже билеты в троллейбусах попадались почти все сплошь счастливые.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.